Vogau, Boris Andreevich
Ivan da Mar'ia

PG
3476
V6I8

Бор. Пильняк

ИВАН ДА МАРЬЯ

ИЗД-ВО
З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГ-БЕРЛИН
1922

432/1015
75.—



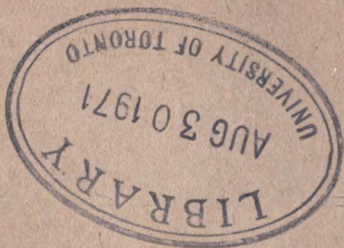
Vogau, Boris Andreevich

Б. ПИЛЬНЯК

Ivan da Mar'ia

ИВАН ДА МАРЬЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1 9 2 2



Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes,
vorbehalten

Copyright 1922 by Z. I Grschebin Verlag, Berlin

PG
3476
V6 I8

Типография Шпамера в Лейпциге

ГЛАВА I

Вот ее письмо:

«Зачем в сущности искренность? А если так, то откуда ироническое отношение к лицемерию?.. Впрочем это не все. Есть возможности, для которых нужна исключительная тепличная искренность. Фальшь, лицемерие — все это слишком грубо и неточно.

«Yes! Однако, это и неискусственный рай Опиофага. — Это одним краем примыкает вот к чему:

«Бывает, не знаю у всех ли, к некоторым людям, ко многим, — в исключительных, в ужасных случаях, ко всем, — глубочайшее отсутствие интереса. При последовательном развитии оно становится приблизительно таким: вся жизнь данного человека кажется безысходно пустынной, не имеющей для твоих глаз ни одного заветного уголка, делается за него жутко и скучно без конца. Это презрительное, мучительное состояние, обесценивающее все.

«Так вот, кто знал это, — никогда не вернется, если же вернется — погибнет. Аминь.

«Но это не для вас.

«Жил-был один человек. Однажды он полюбил и написал стихи. Для себя. Для одного себя.

И для той, которую любил. И в конце приписал он: «Вот я не сплю эту ночь. Ели вырисовываются на бледном небе и края туч порозовели. Север. Снег. У меня покраснели глаза от бессонницы. Вы сказали, что придете, если я заболею. Вот я заболел и вы не пришли».

«Это тоже эксперимент. И тоже не для вас.

«А для вас вот что. Жила-была девушка мещаночка на окраине города в маленьком домике с вишневым садом. У нее было хорошенькое личико, и ни одной минуты ей не сиделось на месте. Работа кипела в ее руках, и шутки не сходили с пухлых губок. Кавалеры на вечеринках все были ее поклонниками, а для тайн и секретов у нее была верная подружка...

«Но у меня устала рука, и я так и не допишу до конца. — Даже, если б мы умерли!

«Сейчас рассвет, и обнаженные вязы вырисовываются на бледном небе. Дичь. Я не ложилась спать, потому что любить нельзя...»

В штаб она пришла к сумеркам.

Перед пустыми окнами штаба, через улицу, полз бесконечным заводский забор, торчащий своими зубьями в тоску, и снег под забором, помятый сажей, был загажен черной тропкой рабочих. Весь день трещали у забора, как воробьи, мальчишки, чтобы воровать заборины на топливо, и за ними не успевала сторожиха, чтобы прогнать их. Мальчишкам есть уже нарицательное — заборники: не ругающее, не унизительное, — констатирующее: — заборники, как кормилиц. И это — тоже от революции, как лицо в самоваре — рожей.

В штаб она пришла к сумеркам. Днем она была в Че-ка и в Жен-отделе. В штабе, в Че-ка, в Жен-отделе, в Полит-просвете — всюду велась горячечная работа созидания новой России,

когда, как в поезде, в теплушке, от Москвы до этого нового города, за неудобствами, духотой и холодом, и мраком, за суматохами мешечников, мешков, чайников, рук, ног, слов, матерщины, вшей, остановок, уклонов, под'емов, — не заметен путь в две тысячи верст от Москвы до этого нового города, отсвистевший телеграфными столбами, мешками мешечников, отмелькавший ночами, восходами, станциями, остановками, — и заметны лишь эти под'емы, ночи, восходы, станции, мешки, — когда — за бумагами, резолюциями, словами, декретами, голодом, холодом, мелочами — видны эти только горячечные бумаги, резолюции, слова, декреты, голод, холод — и не примечен путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего как экспресс, от полосатых николаевских будок, от распутья Распутина, до теперешних лихорадок. Не кажется ли многим, что дни наши — сплошной Памир, никем не изученный во имя Далай-Ламы и, поэтому, без сроков дней сошествия, — не Христа, — а нас, — не со креста, — а просто с Памира — ? — Впрочем, вот мальчишки, как воробьи, у забора — в материнных кофтенках, в опорках, в валенках, в шапках отцовских и в материнских шалях, умытые послед-

ний раз в прошлом году, — посланные матерями совершенно обыкновенно, — заборники, — учитывая превосходство своих ног, растаскивают этот забор, торчащий в тоску, с двух концов, совершенно обыкновенно, — и маятником мается по забору сторожиха, при служебных обязанностях, ибо сама же она знает, что топить надо — и сама же посылает своего Митькю, в своей шали, — только на ту сторону, на чугунку, — как мальчишки, знает, что маменька каждого, — все маменьки очень дерутся, если нет дров.

На заборе, торчащем в тоску, — эта тоска облегчается этими драными досками, склоненными к рыльцам железок, — на заборе висит об'явление: о том, что меняются карточки. И вот, многие ли знают, что за этот Памир заводский поселок в Курьерском Дней оставил новому городу — вместо прежних двадцати тысяч человечьих жизней — шесть, ибо карточек (со всеми жульничествами, ударных, детского питания, первой, второй и третьей категорий) выдано карточным бюро Продкома всего шести тысячам едоков — ?.. А в конце забора, где тоска окончательно изрешетчена, — кладбище.

В штабе на столе, в пустых окнах, лежит газета «Воля Коммуниста». На бумаге желтой, как желтуха, за статьями, где статьи как митинг, — глухое об'явление Че-ка, глуша обыденщину, пишет о том, что все отделы обязаны возвратить перегонные некие аппараты.

— И этим глушится поэзия ночей, вот о чем:

— Уголовная Комиссия отобрала у самогон-

щиков сорок два самогонных (гнать самогон) аппаратов, и в Уголовной Комиссии вскоре сочлось вместо сорока двух самогонных аппаратов только тридцать два самогонных аппарата. Тогда Уголовная Комиссия — комиссар, — сдала аппараты в Отдел Утилизаци, и первым из Отдела Утилизации самогонные аппараты взял (по мандату) Здравотдел, а за ним уже (по мандатам же) все отделы взяли себе по самогонному аппарату, и в приказе, руша поэзию, Че-ка называла их (глухо) перегонными. Кто знает, что такое поэзия? — —

Глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках, в вишневом саду, глухом как ночь — гусару Гореву, застрявшему у Ариши Рыковой в реквизованном доме, художнику Полунину, пишущему в зале Аришиного дома гигантских рабочих для стен-Роста, и Арише Рыковой, школьной работнице второй ступени, бывшей владелице и сада этого вишневого, и бани этой, и каменного дома перед лужами площади и с мостовой на дворе, — реквизирующим и реквизированной, — для всёх по секрету,

для коммунистической попойки — гнать ночью в бане — самогон, — шутить, целоваться по купечески рыхло всем троим, не спать ночью, от бессонницы грузиться в стекло бессонницы, в звон ушей, в ветра вой, в тепло бани и тела. — Баня на курьих ножках — Жуковский. Гусар и попойка — Лермонтов. При чем же, при чем же здесь Спиридонов из Мелкого Беса? Ах, как громко смеется Ариша Рыкова, целуясь, девка в двадцать семь! — не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе — и папашу, как бочка, и мамашу, как щепка, и Горева, и Полунина, и каменный дом с мостовой на дворе — ей, — пополневшей даже, румяной, стриженной, здесь же в бане лукаво подпрятавшей и муку и сало свиное —?!..

Это пишу я, автор. Знавал я в давности ветеринарного фельдшера, Карла Карловича, латыша, который, когда за-

пивал, пил сладкие только наливки и пел еще латышские свои песни, аккомпанируя себе на гармони-флют, и привязывал тогда коту своему бантики на хвост Карл Карлович. Кот этот жил вообще мирно и благородно, но — стоило Карлу Карловичу замурлыкать по-латышски или показать коту бутылку от спотыкача, — как летел кот стремительно в бурьяны и сидел там дня по три. — Ну, так вот, кот этот походил чрезвычайно на папашу Ариши Рыковой, солидного как бочка. Стоило в Москве вспыхнуть эс-эрам что ли, или белым внизу под городом двинуться вверх, — как приходили и брали папашу Рыкова к Архангелу заложником. И папаша Рыков приладился, как кот Карла Карловича: было покойно, не пугали газеты, — папаша Рыков мирно и благородно гулял по лужам пред домом на площади, — но стоило едва-едва заворошиться газетам, как исчезал бесследно папаша Рыков, как кот Карла Карловича, в каких-то бурьянах. И надо отдать справедливость, был барометром политических положений отличнейшим.

Лицо в самоваре — рожей.

В штаб она пришла к сумеркам, и сейчас же вместе они вышли из штаба, шли мимо забора заводского, разрешетившего заборинами тоску.

Штаб пропустил в этот день на фронт пять тысяч изодранных людей и две тысячи с фронта — очень цынготных и очень упитанных, — и весь штаб устал от пота портянок и от того, что рука каждого правая, сжималась в писцевой истерике, чтобы вписывать пустые места: — «Имя, отчество, фамилия, — род оружия, — из граждан губ., у., волости, — на основании статьи, — подпись руки». — В Жен-отделе женщины — высоколобые и низколобые, узколицые и скуластые, стриженные и нет, в кожаных штанах, в защитных штанах и в юбках, с револьверами на ремне, — спорили, анкетировали, командировались, культурно-просветительствовали, ибо женщины теперь просыпаются. И все они —

> анкетированные, командирующиеся, безбровые и с бровями как подобает, с взглядом не оберирующим, устремленным параллелью взоров в психостению, и с взглядом как подобает, — в комнате, с револьверами на столе, в махорочном дыме, в плакатах и лозунгах, с истерикой, конденсированной в пузырьки жидкостью (ибо женщины просыпаются теперь) —

все это (удивительно даже!) эссировалось в ней, — в ней. Но была она покойна очень, как дама, в черном платье, как дама, в прическе черной, как дама, красива очень, с бровями черными, изломанными, и с взглядом покойным, медленным как подобает, высока, гибка, даже с сережками в ушах под пушистыми волосами, — и лишь бровь правая — черная изломанная — поднималась у нее на блед-

ный — очень высокий и бледный под пушистыми волосами — лоб. Даже сережки, и белый платок в левой руке и у губ, в черном платье, как дама, — и все же — заанкеченная, закомандированная, замитингонованная, в Жен-отделе, из Че-ка.

То письмо, что на рассвете было написано (с адресом: «писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову») так и осталось на столе у кровати, в доме всюду отпертым, из которого всякие Ариши Рыковы выгнаны были. Ведь писатель Тропаров, почти старик, — был где-то, а вот здесь в штабе, за пустыми окнами в сумерки стоял другой, в кожаной куртке, стройный как черт, — конечно молодой черт, отрицающий и черта и Бога, чтобы зарыться в ее коленях. И этот молодой черт без черта и Бога, губами, от которых нет возможности оторваться, — одними губами, — здесь в штабе и у забора, говорил о самом тайном — о — — — — — —, о том, как больно, целовать ее — — — — — —, только об этом говорил он, весь в Памире, окурьеренный днями в бумажный смерч — рода оружия, основания статьи, подписи руки, — здесь у забора, где каждый из шести тысяч, оставшихся после двадцати, сторонился угодливо, — сторонился от черта Памира. Одними губами — о самом тайном.

И уже за забором, у кладбища, — а жило кладбище в ветлах странными белыми цифрами, уничтожившими и забор каменный, чтобы выползти на огороды, и всякую статистику, — у кладбища, на распутьи, прощаясь, она сказала тихо, с плат-

ком у губ, — подняв правую — черную, изломанную — бровь на очень белый и высокий под пушистыми волосами лоб:

— Я думала... Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но — женившись мучатся, если жена не девушка, — я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдаваясь впервые, несет душу и тело — всю душу и все тело отдает она другому мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится воровством и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если узнает он, что всю душу, всю святость женщина отдала уже другому, — не могла не отдать сошедшись... Я не попала в число этих девяносто девяти.

— Что же Колонтай о тебе писала, проектируя человеководство и человеческие племенные рассадники?

— Нет, не обо мне. Прощай. Приди ночью.

И они разошлись — два черта без черта и Бога — начальник штаба товарищ Череп и сотрудница Че-ка, начальник Жен-отдела, товарищ Ордынина, оба с Памиров.

Куррикулюм вите Ордыниной:

Княжна Ксения Евграфовна Ордынина. Детство провела в семье, в захолустном покамском (в сущности вотчин-

ном) городке. Образование получила в Московском Николаевском Институте Благородных Девиц, коий и окончила с золотой медалью, получив по всем предметам выпускных экзаменов, как раз в год революции, — двенадцать. В кондуитах и актедиурнах классные дамы и mademoiselles отмечали в княжне Ордыниной склонность к романтизму, некоторую эксцентричность и дерзкую правдивость.

В каменном доме, с лужей пред ним и мостовой на дворе, из которого выгнаны были всяческие Ариши Рыковы и который всегда был отперт, ибо каждый проходящий мимо начинал чувствовать себя лойяльнейше-удивительно и удивительно мирночестным (а все же стремился пройти по добру по здорову), в комнате с окнами и дверью к вязам и заброшенным куртинам, на столе у кровати (у кровати в ногах висела винтовка и на столе валялись кассеты) — на столе стыло письмо писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову, как стыла тишина в доме. И дому, и комнате, и кровати, и товарищу Ксении Ордыниной надо было отбыть часы, чтобы ждать, когда придет товарищ Череп, — и в этом доме, в этой комнате, на этой кровати будет целовать — губами, от которых возможности нет оторваться — — —

— Это было уже. Дом, из которого выгнаны всяческие Ариши Рыковы, и мимо которого ходят двумя ногами на четверинках, всюду отпертый, избывал июлеву ночь. К городу

подступали белые, и город, и ночь, все как папаша Рыков в бурьянах, избывали тишину. В Че-ка шли допросы. Шел июль и уже перестали петь птицы. Немотствовал дом. Ксения одна ждала товарища Черепа, от губ которого нет возможности оторваться, и каждый шорох судорогой пробегал по спине, и на яву шли сны — о снах.

> — Вот эти сны. Как их передать? Вот его лицо, и еще кто-то тут, кто-то такие изысканные, блестящие, заманчивые. Едем, — на чем? — неизвестно, неважно. Дорога сворачивает между двух синих, зелено синих изб, и справа зелено синяя ночь, с зелено синей полоской восхода (и неизвестно что слева). И рядом только его лицо, нет тела, но рука его касается талии. И все. И все качается в мозгу, зелено синее.

И каждый шорох судорогой пробегал по спине и на яву шли сны. Немотствовал дом — в июлевой ночи, в горячке Че-ка. И тогда из дальних комнат послышались шаги, странные, костяные. Не было сил двинуться, и горячею кровью заныли шаги в коленях, в груди, — заблудшая шершавая собака, блудившая по городу в ночи и забредшая в дом всюду отпертый, подошла к кровати и лизнула холодным языком горящее колено Ксении. И Ксения завизжала в истерике, в испуге, в тоске. Шершавая, в репьях, блу-

дящая в ночи, с тоскливым визгом, не спеша, побежала от кровати собака, вон из дома.

И тогда зазвонил резко в пустом доме телефон.

— Товарищ Ордынина. Вас просят в Че-ка.

— Что?

— Идут допросы.

В Клубе Профсоюза Советских Служащих, —

— внизу в клубе, где пахло, как пахло при трезвости, полна чайная, пили чай, резались в шашки, кто посолиднее и посерее, с собачкой в зубах, — наверху в клубе, в читальне, полна читальня, кокетничали с барышнями и не читали газет, кто помоложе и понаряднее, с папиросой в зубах, — и наверху же в клубе, в зале, на устной газете полтора человека слушали устную газету на тему текущего момента, те, которых не определишь, глядя на спины, без папирос и без собачек в зубах, сидящие на стульях очень неплотно, —

— в Клубе Профсоюза Советских Служащих, в правленской, члены правления торчали в тоску, как забор, и терзали тоску как заборники, то-есть так же покойно, как мальчики, — члены правления в правленской: народный судья Вантроба, художник Полунин, гусар Горев и Иван Альфонсович, без фамилии, — все холостежь.

— Сделал таинственный круг в революцию по революции народный судья Вантроба:

революцией захваченный земским начальником первого участка, с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки, эквилибрируя года два очень таинственно, кончил Вантроба народным судьею первого участка с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки. — И никакого таинственного круга по революции (совершенно таинственно!) не сделал Иван Альфонсович без фамилии и по прозванию Морж, ибо, как был, остался нос его невозмутимо багровым, ибо, как всегда, говорил Иван Альфонсович всем невозмутимо на ты — и невозмутимо оказывал всяческие всем услуги: доставал по дружбе муки, мяса, китайского чая, водки, вин и прочее; продавал по дружбе часы, шубы, сапоги, комоды и прочее; деньги ссужал; переговаривал с друзьями по дружбе, чтобы не выселяли, не уплотняли, — или устраивал квартирки по дружбе, так и такие, выселяя столь важное, что это казалось чудесным. Кроме «слабости», имел одну слабость: скупал для себя портреты императорской царствовавшей фамилии, при чем и эту слабость свою совсем не скрывал.

В правленской члены Правления, терзая тоску также покойно, как мальчики, — придумали, — Полунин и Иван Альфонсович подали мысль, — устроить вечер вскладчину, с приглашенными по списку, и так, чтобы приглашены были исключительно хорошенькие барышни, — бал красавиц, так сказать, устроить. Весь этот вечер зарожде-

ния идеи в обсуждении ножек, под'емов, торсов, бюстов, глазок, шеек, овалов, — по-Пушкински терзал Полунин край стола, диван и комнату от двери в угол, — по-Лермонтовски мчал на стуле Горев, — по-Карамазовски дремал Альфонсыч, с папиросой меж усов и с пеплом на жилете, — и голову склонив на трость, как Кони, обсуждал Вантроба.

И список был составлен: тридцать семь дев, тридцать мужчин.

И было высчитано: каждому нести муки два фунта и по три тысячи денег. Правление же отпускает — помещение, свет, прислугу, — и покрывает все перерасходы.

Но был составлен еще и малый блок, фракция по бане. —

Глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках — гусару Горезу, Полунину, Арише Рыковой, варить — и поучать Альфонсыча. Ах, как громко смеялась Ариша Рыкова!..

И перед балом с красавицами многими проделан был таинственный путь: — барышням (красавицам!) к Арише Рыковой в столовую внизу за кухней, мужчинам к Полунину в парадный зал наверх, где по стенам стояли гигантские рабочие из Росты, — и оттуда всем в таинственный вишневый сад в семейную купеческую баню, — чтоб поострить в таинствии и выпить таинства самогоне-

ний, — а там, у забора, в тоску, идти в клуб Профсоюза, чтоб веселиться, кушать и танцовать. А в клубе — Ариша же Рыкова и другие красавицы — с утра варили, пекли, жарили — пирожки, крупеники, коржики, баранину, тянучки.

И сошедшись в вечер на бал, красавицы и кавалеры, проделавшие банный путь и нет, сели за стол в читальне, за кофе ржаное с пирожками, коржиками и тянучками, — должно быть алкоголь в иных случаях заменяется углеводами, — ибо от едова, от кофе и коржиков, раскраснелись лица, завеселились глаза и языки, — и руки (красавиц и кавалеров) потянулись за коржиками ненужно жадно в стремлении уцепить больше чем можно пятью пальцами. И даже тарелки, жадно пустевшие, срывались несколько раз из рук со стола. В крике (в кокофонии в сущности звуков, ибо взывал уже рояль) было очень весело — и — и жутко сиротливо, — в крике, в рояльном марше, в электрическом свете, в тесной чительне у стола, затесненного тарелками, кружками, телами, руками, словами и криками, маршем рояльным. Суматошась, уже за столом стали кавалеры выбирать царицу, наметив в короли Ивана Альфонсовича Моржа, и шумно обсуждая экстерьеры (ах, любопытно знать, какие испытания испытывать красавицам, когда здесь в соревновании обсуждаются их под'емы?!). В стесненной читальне, в стесненном воздухе, стесненными желудками, уже завелись кружки для моргалеи и жгутов, в ожидании, пока не наелась таперша, заболевшая на сегодня для кинемо. Красавицам (как некрасив, должно быть, рус-

ский народ, ибо красавиц, подлинно, не было ни одной!) — красавицам нести поэзию — в ночь, в клубе Профсоюза, в бывшей «Трезвости», залитой электричеством, — ибо тридцать семь дев и тридцать мужчин — запев, запев всяких кончин. И тогда, —

вот знаете, как подпасок пастушьим кнутом, изгибаясь лозинкой от напряжения, кнут, как величайший примитив, змеей выкидывая вперед, ни с чем несравнимый извлекает звук бича, —

как метельная метелень-
ка воронкой в воронку
ежась,

с губ в губы передалось, как звук бича и бьющие бичем, два слова: — Товарищ Ордынина.

На лестнице, к барьеру прислонясь, в кожаной куртке и с револьвером у ремня, опустив глаза (и была она единственной красавицей на балу красавиц! с полуопущенными глазами, похожими на павлиньи перья) стояла товарищ Ордынина с нарядом солдат.

— Прошу разойтись.

И поспешно, опустив глаза, спотыкаясь о ступени, проходили мимо красавицы и кавалеры, чтобы в безмолвии, лойяльнейшем и мирно честным, рассеяться по городу и ночи, не успев оттанцовать и с'есть баранину с картошкой. И даже Морж, как член правления запасный ход нашедший, выказал некоторое беспокойство, как кошки — чуя валерьянку.

Товарищ Ордынина простояла четверть часа, пока одевались, безмолвно и неподвижно, опустив — единственная красавица — глаза, как перья из хвоста павлина, и затем ушла с нарядом солдат.

В полях, проселками проезжая, ямщики, — в разговоре о версте в езде, — каждый ямщик расскажет про кобылку визгушу. Есть такая разновидность девственниц лошадиной породы: бесплодны они как библейские смоковницы, и даже в октябре, визжат задрав хвост, за пять верст учуяв жеребца. А когда жеребец проходит мимо, они брыкаются хвост поджав. Они навсегда бесплодны, их зовут визгушами. — «Вот. Начинается этот культ, культ старых дев, лимонад из похоти мужския и женския, который квасится в собственном уксусе, вместо того, чтобы давать лозу». — Но эта последняя фраза в ковычках — не моя, а Розанова, — этот последний абзац не об Ордыниной, а о тех, что рассеялись по городу от Ордыниной и ночи.

Впрочем Отделом Исполкома, ведущим акты гражданского состояния, установлено безмерное количество браков, причем контингент (персонально!) брачущихся и разводящихся — один и тот же: Иваны Альфонсовичи.

Вот, не сказано мною, автором, но знаемо уже, что над землею октябрь, с полднями как сумерки, с пустыми окнами, опустошенными опавшими листами (и с этими опавшими листами, летящими по

улицам в сиротстве, в жестких сумерках, в дождях как сплин!), с ночами глухими, как баня на куриных ножках в саду ночном, глухом и мокром, как октябрь. И кругом пожелтевшие холмы, как задний план на картинах Ренессанса, и леса, осироченные волками. И если посмотреть с холмов даже в полдень, — ибо полдень как сумерки — увидишь — там в лощине — за огромным забором трубы и цеха заводов, пирамиды каменноугольной пыли у шахт по скату вправо, помет мушиный изб рабочего поселка, кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского, тоску, печаль, дым труб и каменноугольную — от шахт — пылищу, все пожелтевшее и нищее в индустрии тяжелой. А ночью (черной как сажа, и лишь в морозы лоснящуюся антрацитом), — там в лощине — кажется — садится черт, ворочает колесо (беззвучное) лощинных дел, дышит домной и, как заборники заборы в тоску торчащие, решетит ночь лоскутьями трубинных электричеств, газовыми фонарями, — а пред рассветом воет воем заводского гудка, — черт с чертом и Богом.

И вот отрывок из поэмы черта (из колеса лощинных дел):

> Черною ночью, в черном углу своей каморы, на кровати с черным мешком соломенного матраца, просаленного сажей, потом, человеко-клопиной кровью, рабочий-шахтер (в черной саже и пыли, в'евшейся в каждую пору) спал с тремя ребятами, из которых старший заборник, и с своей женой, которая казалось подлинно-славянкой рядом с негром

интернациональной тяжелой индустрии (и ведьмою в лохмотьях, в косматых волосах, с лицом отекшим), — спал так, как в этой же избе (много худшей, чем баня на куриных ножках!) в других каморах спали также и такие же рабочие-шахтеры. И черным воем в черной мути завыл гудок. Тогда рабочий встал и над помойником без мыла водой плескался, жена дала ему картошки, соли, хлеба, — он ел. Тогда жена ему свернула в узелок из тряпки картошки, соли, хлеба, и он ушел. Мог бы он в черной мути предрассвета пролезть сквозь щель в заборе, но по привычке шел две версты кругом, в ворота, глотящие людей узчайшими сходнями с архангелом и бляхами. У бадьи, у жерла шахты, в очереди он стоял и ждал, надев шелом из кожи. В бадью ступая, он перекрестился трижды, по привычке, и вздохнул (ибо по статистике на тысячу шахтеров в год — через каждые три дня увечье или смерть), и, в голос всем рабочим, молвил: — «С Богом!» — чтоб кинутым бадьею быть на триста сажен вниз и там, в извечном мраке и в дожде извечном, с фонариком у шеи, бурить бурки, вбуряясь в смерть. —

А жена рабочего шахтера, у себя в каморе, подлинно славянка и ведьма, в лохмотьях и лохматая, подвязав живот отекший веревкой, варила в общей печке картошку, и караулила, чтоб не украсть соседям, шлепала младшего, замочившего перину, прогнала

Митькю заборничать — и караулила, и караулила, и караулила, чтоб не украсть соседям ее брахмат и чтобы украсть при случае брахматы у соседей. — — —

Вот отрывок из поэмы лощинных дел.

Впрочем, тридцать лет назад здесь не было ни шахт, ни завода, ни гудков, ни трубинной, ни этих рабочих, гудящих шмелем тяжелой индустрии. А шумел вокруг зеленый лес, шелестели одинокие ржи и пели тихие под небом наши русские песни — тихие под небом наши русские пахари.

Впрочем — лесовик Егорка, лежа костляво на снегу, сказал: — Я Красной Горке — миллионы девок берегу!

Этой главы название: —

— ЗАБОР, ТОРЧАЩИЙ В ТОСКУ. —

ГЛАВА II

С каждой истерикой стоянок, коими эпелепсировал поезд, передвигаясь по карте Европейской Российской Равнины от переферии к Москве, — все яснее было Тропарову, что это — только желтая карта Великой Российско-Европейской Равнины — Императорского Топографического Департамента издания 15-го декабря 1825 года, ибо, как на карте, не жаль желчь желтухи и желтый порядок — желтых лиц и пожелтевших до времени бумаг. Желтое. Бледно-желтое. Зеленовато-желтое. Каждая новая — от переферии к центру — топографическая точка (с нелепыми названиями русских наших станций), связанная на карте черточкой, обозначающей железно-дорожную сеть, — каждая новая говорила, что и эпилепсия может упорядочиваться желтухой, станционными службами в охре, пожелтевшими в порядке Ортечека и Утечека, лицами в сплошном желтом синяке и в движениях, медленных, как бледная немочь желтухи. В международном вагоне, где ехал Тропоров, проводник международного вагона, в желтухе блузы и штанов, жужжал пульверизатором и сулемой, и поэтому на топографических точках эпилепсии сторонились

канонизированные мешечники международного вагона, как — дома товарища Ордыниной, что ли. В международном же вагоне ехал из Персии с семьей, домочадцами член Це-ка Ир-Ка-Пе (Центрального Комитета Иранской Коммунистической Партии), желтый по происхождению и со странным запахом, врезавшимся востоком в международный вагон и сулему (ползущие по желтой карте издания 15-го декабря 1825 года) — востоком шепталы, кишмиша, лимона, трапезунского табака и детских пеленок, — и он, член Цека Иркапе, был не по-восточному счастлив, по-восточному наивный.

Ему же, Тропарову, поседевшему уже, — кинутому быть, как лист в осени, в пустые улицы пустыми ветрами. Впрочем, откидывая назад истерики стоянок от переферии к Москве по карте Российской Равнины, врезался поезд с октября в белую пустыню снегов почти четырнадцатого декабря 1825 года, — и четким кругом на шпице Николаевского вокзала в Москве стала цифра на часах шесть, —

ибо поезд, прорезав снега почти 14-го декабря 1825 года, теперь впер в Москву Апполинария Васнецова.

Сиреневыми и синими туманами творился над Москвой рассвет. В купэ были спущены шторки и во мраке копошились как жулики грязные тени рассвета. Когда член Ортечека осматривал предупредительно вещи, человек в пальто и котелке, инженер из Голутвина, сродненный поездом в скуку, сказал Тропарову:

— Вы заметили, — сказал тихо инженер, — рассветы, в тот момент, когда ночь борется с утром, — всегда грязны. В комнату входят грязные тени, лица, особенно женщин, кажутся серыми, нечистыми. Мне чаще приходилось встречать рассветы с женщинами, и так мучительно жаль ушедшей ночи. Рассветы — грязные, они мучат.

— Я уже три года живу в деревне, — ответил Тропаров. — Ложусь с курами. Рассвет я часто встречаю, но только после крепкого сна. Наоборот, я люблю работать ранним утром.

Инженер помолчал. Член Ортечека предупредительно приседал перед кишмишами перса.

— Завтра я тоже буду встречать рассвет. С женщиной... И после-завтра.

— И будете мучиться?

— И буду мучиться, — ответил серьезно инженер. — Потом уеду в Коломну, чтобы тоже мучиться.

Над Москвой, на западе, красно догорала мутная луна, но на востоке небо уже поредело. От ночных костров, от домов, от фабричных труб шли дым и пар, смешивались с туманами и застилали Москву синими и сиреневыми пологами. Все больше растворялась в воздухе сини, чтоб уготовить лиловый восход. —

Чтобы было, если на палитре индивидуальности поручить Достоевскому приготовить краски для Москвы, пользуясь тюбиками психик — Апполинария Васнецова, Чурляниса, Босха и, конечно, Ленина, Троцкого и Луна-

чарского? — Впрочем, я не поручил бы этого Достоевскому. —

В это же утро над Москвою творился, творимый Васнецовым, обыкновеннейший тихий рассвет. Москва еще не просыпалась, и по улицам не бегали даж собаки, как в Константинополе. День рождался, как триста лет назад, с салазками, одиноко выползающими на середину улиц из глоток подворотен. И с салазками же, во Дворец Искусств на Поварскую, просто применившись к валюте хлебом, спящую пересекал Москву (Москву Апполинария Васнецова) Тропаров. Перезванивали колокола в церквах в рассвете, как триста лет назад, и Красные Ворота сдвинулись на два столетья вглубь. Назад три года — до Памиров — Тропаров сменял Москву на глушь, затем, чтобы работать так, как Бог послал. На Лубянской Площади, где ожил в безлюдии Китай-город, на углу Мясницкой, в землю вросшая томилась Гребневская Божья Матерь, с колокольней низкой, как шатры царей на охоте с соколами, и малиновая в благостном рассвете, и на ней, малиновыми звонами звонили колокола. В темной церкви, в темных сводах и в низеньких колоннах, с ящиком общины слева, с свечами бледными перед иконостасом, в печали тусклой образов, — было древне. В алтаре священник и диакон служили утреню, и перед алтарем, согбенные и черные, как маятник, качались спины черных женщин. Слова из алтаря лились священно, и бледный мальчик вышел к паперти с тарелкой. — И этот бледный мальчик, и нищая на паперти, и салазки в снегу на Лубянке, и сама

эта Гребневская Божья Матерь, и китайская стена с иконами ворот Никольских (вывески ведь сорваны в Москве), и это ночное безлюдие, даже без собак, — двадцатые ли годы двадцатого столетия?

— и не семнадцатый ли век? —

Впрочем, с Никольской в Малую Лубянку рявкнул мотоцикл, в мотоцикле откинув утомленно и безразлично голову, сидела женщина в мехах, и лицо ее показалось Тропарову зеленым, а волосы — цвета моф, — русаличье лицо. — А ночь уже ушла. Над Китай-городом, над Кремлем вдали, над Охотным Рядом стоял, кутая их, сиреневый туман. Через него красным шаром из-за Замоскворечья вставало солнце, из ночи как триста лет назад.

> — Что бы было, если бы на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для росписи Москвы из тюбиков психик — Апполинария Васнецова, Чурляниса, Бохса, и, конечно, Ленина, Троцкого и Луначарского? — Я освобождаю Апполинария Михайловича Васнецова и его Москву, в которой приказано было ходить ночами с фонарями. Я говорю сам. —

В Москве, где каждая квартира имеет выезд салазок совсем не для того, чтобы утвердить картину семнадцатого нашего века, Тропаров, после трех дней исчисления топографических точек, успел лишь записать в записную свою книжку:

> — «Рассветы мучат. Туманы. Синь. Обыск на станции. Салазки за хлеб. Гребневская Божья Матерь, нищие. Арестованная дама на моторе по до-

роге в Вечека. Мертвая пустыня Москвы, с тропинками среди улиц. Пули в стенах. Ободранные фронтоны и вывески — и красные вывески, чиновные как сукно на столе в присутственном месте.» —

записать в свою книжку и лечь спать. Золотые ломкие солнцевы лучики забрались в комнату, подобрались к лицу Тропарова, рыхлому как котлета, разбились тонкой радугой света в его волосах, растущих отовсюду. Рот Тропарова, весь в волосах, с большими губами и крепким рядом широких зубов, был полуоткрыт для дыхания, и Тропаров храпел крепко. Веки, плотно сжатые, уже в морщинах, скрывали острые желтые глазки. И все лицо, как котлета, и волосатое, было во сне страшновато. Долго блестел один волосик на широком, как котлета, и с маленькими тупыми ноздрями его носу.

Уменьями кинематографа не передашь. Тропаров приехал от тоски и от заборов, торчащих в тоску. — Впрочем от семнадцатого века также не уйдешь, — ибо, чтобы триангулировать облик Москвы Р. С. Ф. С. Р., нельзя не взять в расчет теодолита проматерь всяческих теодолитов — первую российскую обсерваторию — Сухареву Башню. Ибо Сухаревкой фурункулирует Р. С. Ф. С. Р., как худосочный фурункулами до лихорадок и как семнадцатый век.

— Вот они, вот они здесь пирожки горячи есть! Почтите за честь! с пала с жара пять косых пара!

— Эй, барин, кошку жарил! Купи Ленину ко-

нину, забудь Колину свинину! — Эй, спеши, пироги хороши! Из конины две с палтиной, из картошки — пара трешка!

— Чиню сапоги, маментально-фундаментально.

— Эй, мужчина, в картузе с магазином на пузе...

— Эй, держи — держи, вора держи! Кошелек украл!..

И все это — у этих десятков тысяч площадных людей — так же просто, как стакан чая, и так же убого, как стакан чая из сушеной моркови, Российская ярмарка заквашена Р. С. Ф. С. Р., как фурункулез до лихорадок у худосочного. Захлебываясь до слюней в восхищении: — «Все что угодно. И масло, и белый хлеб, и материя, — все — все как раньше.» — И ложь, ибо так же убого, как стакан чая из жженой ржи. Ибо — ужели же только фунт масла, — и французская булка у прекраснейшего вольнейшего алого стяга Революций, привешенная на веревочке ко знамени и тащащая книзу знамя, как крыса, привязанная за хвост... —?

... И бабам (подлому сословию) бросится в проезд под первую Российскую обсерваторию (а также — зал рапирный навигационной Петровской школы), — броситься в проезд, где на глетчерах грязи умирала баба (подлое сословие), — не то от спазм слюней, не то от тифа.

... А на Лубянке в столовой, как во всех столовых, стоять в очередях — одним с разменной, другим с крупной, третьим за ложкой, четвертым с тарелкой, — и смотреть, как между столов ходят старики в котелках и старухи в шляпках и

под'едают об'едки с тарелок, хватая их пальцами в гусиной коже и ссыпая об'едки в бумажки, чтобы поесть вечером. Где они живут и как? Где и как?

Последнее слово науки. Величайшая в мире радио-станция. Вся Россия триангулируется — первая в мире вся. Ни одного безграмотного. Всероссийская сеть метереологических станций. Всероссийская сеть здравиц и домов отдыха. В деревне Акатьево — электричество крестьянам. Победа на трудовом фронте — люберецкие рабочие нагрузили пять вагонов дров. —

Это, конечно, пишу не я, автор. Это гудит Гудок Цектрана.

В небоскребе, в редакции, в комнате со спущенными плотно бархатными шторами и с электричеством весь день, сидит редактор, подписывающийся всюду — начальник. И у редактора лицо в очках и руки иссушены, как воблы. Все шепчут, что редактор ненормален, а он все пишет, пишет, пишет — и счастлив он, крестьянин Рузского уезда, Перовских мастерских рабочий, — с сотрудниками и с секретарями — стена в стену говорящий счастливым голосом — по телефону.

По Балчугу, Арбатом, по Тверской, Кузнецким, по средине улиц, с рудиментарными инстинктами умершего трамвая, спешат в коллегии и комиссариаты, с портфелями и саками, и с санками, — спешит — сволочь, некогда названная так Петром Великим в одном из регламентов, где говорилось о всяких чинов людях, о шляхетстве, о посадских

людях, о подлом народе, о солдатах и — прочей сволочи, от глагола сволакивать.

Это утренняя деловая рабочая Москва.

И женщины. Три женщины — Наталия, Анна и Мария, женщины Тропарова.

— Вечная па-амять... Ве-ечная-а пааамяять...

Разговор по телефону.

— Ты все такая же, Аннушка, — это Тропаров.

— Вы хотели со мной говорить, — это Анна. — Пожалуйста.

— Я живу в лесу, в маленьком домике, в полверсте от села. Сейчас там тишина и ночь с подслеповатыми зимними звездами. В селе живут дикари, именуемые русским крестьянином, сейчас они спят, чтобы встать завтра и возить дрова на завод, топить избы, кормиться и кормить скотину. За селом, за лесом, за полем — еще деревня, и еще. Я встаю утром, надеваю смазные сапоги, и иду по хозяйству или пишу.

— Или наслаждаетесь бабой Ариной, — это Анна.

— У меня есть крепкая, здоровая, глупая жена, — это Тропаров, покойно.

— Ну, — да, ну, — да. У Достоевского в «Дневнике Писателя» есть где-то, — после Лиссабонского землетрясения, кажется, когда все были в смятении, вышел поэт и сказал, что он знает путь к спасению. Все бросились к нему и он стал читать стихи о том, что смотрите мол какие-де

звезды и в них спасение. И люди его разорвали. И они были правы, разорвавши его, говорит Достоевский. Вы говорите, что у вас село и еще село с мужиками, как дикари. Я знаю еще, что вы думаете, — это на самом деле, что все мы здешние похожи на пирующих во время чумы. Что же — правда. И все же я презираю вашу правду, презираю!

И весь этот разговор — в спокойствии уверенном одного и хланости, как кипяток, другой. И два телефонных ящика, чтобы быть терзаемыми: у рыцаря в латах и нафталине, в поблекшем плафоне манеры Рубенса во Дворце, — один, и другой — на Собачьей Площадке у дивана в пестрых шелках и подушках, и в духах, как женские руки. — Потом была Собачья Площадка, и Собачья Площадка, Хомяковых и Аксаковых, вновь расписывалась Апполинарием Васнецовым, зимними тусклыми светилами, пока небоскреб не скомкал вафлями окон и эти звезды и Васнецова, чтобы там, в небоскребе, в шестом этаже — целовать — — — — — Анны, а Анне — бросить судорожно со стола в книгах с автографами под стол, измяв, фотографию поэта.

— Милый, я тебя уже встречаю не та, не чистая. Помнишь, тогда, давно ты унес все мое, всю меня. И кинул, не сказав, что у тебя есть хутор и баба Арина. И мне ничего не осталось. Этот поэт мой... мой любовник... Маленькая радость, быть может, последняя... А до него были еще, были еще... Но ты теперь пришел, ты отнял его у меня, я опять твоя. Ты завтра снова

меня кинешь. И я останусь одна — на Собачьей Площадке... А поэт... Ты меня опять кинешь, Дмитрий.

— Нет, я не кину тебя, Анна.

— Ты лжешь, Дмитрий. Ты завтра же напишешь об этой ночи в свою записную книжку. Как тогда. Я знаю. Это будет материалом.

Собачьей Площадке отбыть ночь почти четырнадцатого декабря 1825 года, чтобы вписанной быть в толстую записную книжку, — в записную книжку писателя Тропарова, кинутому как лист в осени в пустые улицы пустыми ветрами смерти Марии.

Этой же ночью на Плющихе у Наталии Николаевны, в белом доме, за полисадом, в рассвете — в муке рассветной — сидеть и слушать: слушать себя и Наталью Николаевну.

Странное слово — Плющиха. Там, дальше — Девичье Поле. Почему кажется, что в старину на Плющихе должны были кушать яишенку? И обязательно у каждой мамы пять детишек!

— Кузен, нам надо поговорить. Я ведь многое могу рассказать, что тебе интересно. Ты все такой же... Ах, да, мы говорили утром о кроликах, — они умерли. У меня живут две курсистки. Они просыпаются рано и читают «Известия», скучая от них. Днем они ходят на курсы и в какую-то грязную столовую обедать. Вечером они всегда дома. Иногда к ним приходят два студента, их зем-

ляки, тогда они на кухне, из ржаной муки делают кэкс и душатся одеколоном. Студенты снимают свои пальто у них в комнате и кладут на кровать, в синих рубашечках они сидят у стола и пьют с кэксом чай до красноты, и говорят про какие-то студенческие дела: про комкомы, про учителей и экзамены, про червяков из сельдей в своей столовой, про вечеринки. Обязательно сплетничают про своих земляков и вспоминают родину. Потом студенты одеваются, остря, как семинаристы, и уходят, а барышни еще долго сплетничают: об этих студентах, и запоминают — кто кому какой сказал комплимент и как они ответили ядовитыми колкостями. Потом они идут в уборную и ложатся спать... Но студенты к ним ходят редко, и тогда они ложатся в восьмом часу... Кузен, ты слышишь. — Я за ними очень часто наблюдаю: мне не жалко моего времени... Потом они кончут, уедут из Москвы, их мобилизуют, они выйдут замуж, если выйдут... и — будут счастливы... — Я сейчас изучаю Карла Маркса и старинную русскую живопись: я никак не полагала, что всякая завитушка, всякий изгиб, всякое нагромождение на старинных иконах — так продумано и закономерно, кузеник... Потом я изучаю музыку, кузеник, я начала ее изучать в прошлом году — тридцати лет. Ну, вот... Ты слышишь, кузен... Я на Сухаревке купила себе двух кролят, я завернула их в вату, положила в картонку и поила их молоком. Они едва ползали. Я все дни возилась с ними, и все же они умерли, оба сразу. Когда они умирали я плакала... Я плакала над собой, кузен, над

моею жизнью. Я думала о тебе, милый, кузеник... Нет, кузеник, я солгала. Я мучусь своей жизнью, — милый, у меня так много жалких минут. Мне очень больно, кузеник, и я совсем не коммунистка. Позвони Анне, братик... Помнишь то лето, братик, уже давно, у меня в имении, — мы целовались с тобой на терассе прощаясь. Да-да... Там же ты встретил Анну, и она стала твоей женой, ты ее увез в Москву, и я поехала за вами, — за вами...

И тогда в рассвете зазвонил телефон.

— Милый, милый. Ты обещал позвонить, когда придешь. На Собачей Площадке уже бьют колокола, я и не сплю. Ты меня любишь. Да?

— Да-да.

— Мне можно покойно лечь спать. Да?

— Да-да ложись.

— Я лягу сейчас, я покойно лягу, я послушная, милый. Мы завтра увидимся в Лито. Да.

— Да-да, до завтра.

И тогда поспешно выбежала из своей комнаты Наталья Николаевна, с распущенными волосами.

— Тебе звонила Анна.

— Нет, звонил загулявший товарищ.

— Нет, ты лжешь... Тебе звонила Анна. И ты лгал — ты был у нее. От тебя пахнет ее духами — ее. — И Наталья Николаевна ломает руки над головой. — Она — развратная, мерзкая... Зачем?.. я ждала... Зачем?.. Я ведь тобой живу... Зачем?..

Собачья Площадка и Плющиха — Хомяковым, Аксаковым и яишенкой. Ну

да, у писателя должна быть толстейшая записная книжка. Тропаров не звонил больше ни Анне, ни Наталье.

Вечная па-амять... Вееечная-яа пааамяяать...

И третья. Мария. Мария, — как тридцать два процента всех русских Иванов, из эпопеи Иван-да-Марья.

Поварская. Дворец Искусств. —

— Это не союз писателей в Центроспирте дома Герцена, где пишут почему-то по старой орфографии. Это не союз поэтов из магазина Домино, где почему-то консолидируется сутенерами и Че-ка. Это не департамент Лито, где почему-то стряхивают с хартий веков пыль департаментов и цензур. — Но здесь и пишут по старой орфографии и не пишут. Но здесь и консолидируются сутенерами и Че-ка и не консолидируются. Но здесь стряхивают и не стряхивают с хартий веков пыль департаментов и цензур. — На чердаке Дворца Искусств начал писать свою эпопею Андрей Белый.

Дворец Искусств. Поварская. — Летом ходила по Дворцу Искусств знаменитейшая актриса голой, и ходит по Дворцу Искусств привидение, оставшееся от графов Соллогуб, — черная женщина. В доме, видевшем горячку и смуту французов и слыхавшем Растопчинские глупости, глупости к народу, писатели, поэты, актеры, художники, музыканты — во флигелях, в подвале, в залах и гостиных с рыцарями и без них,

на чердаках, — чехардой, — ели, спали, писали, сплетничали, влюблялись, скучали, пили водку, играли в шахматы, устраивали вечера, концерты, словоблудия, выставки, как подобает. Как подобает, ходила актриса голой, и как не подобает, ходит привидение, еще от графов Соллогубов. — Но жило еще во Дворце столетье теней графов Соллогубов, — и тени эти, черной чередой столпились в церкви, — —

ибо во Дворце Искусств
церковь — сердце.

Во Дворце Искусств рядом с белой концертной залой есть у графов Соллогубов — черная церковь, в черной череде печали понявшая Бога монахом, содомитом и урнингом Великих Инквизиций. Графом Соллогубом, —

в их Тамбовских, Казанских и Тульских рабах, — в гусях, свининах, пулярдках из вотчин, — в конюхах, лошадях и лакеях, в девишных гаремах и хоре цыганском, — пред двуспальной кроватью под болдахином с законом жены и потомства, — в английских клобах и выездах, в штоссах, бостоне и вистах, рейнвейнах, глинтвейнах, шампанских, — в похождениях кава-

лера Фоблаза и в сальных
свечах на балах перед гу-
сем с мочеными сливами,
— с горничной смуглою
перед двуспальным зако-
ном жены, —

— как же графам Соллогубам не по-
нять Бога монахом, содомитам и ур-
нингам, чтобы с сальной свечей перед
спальной услышать —

— проклятье — —

Господне!

И в доме, где поэты, писатели, актеры, художники, музыканты, спят, едят и живут, как всегда в сладком запахе тленья, где ходят привидения и голая актриса, — там у концертной залы и посейчас — поистине святой священник — служит Богу в домовой церкви, в черной череде умерших Соллогубов. И это и есть Дворец Искусств, как сердце подлинной поэзии всякого художника. — Ну, конечно, если бы не было Тропарова, — не было бы ни Дворца, ни церкви. И по ночам, медведем, с лицом холодным, как холодная котлета, молился в церкви — или думал, стоя на коленях — Тропаров — о сестре своей, родной, единственной — единоутробной — о Марии.

— Веечнаяяа пааамяать...

В клиниках, в больницах Старой и Новой Екатерининских, в Александровской, Солдатенковской, в Бахрушинской и в десятках иных, в хирургических отделениях, где нет ни марли, ни лигнина, ни ваты,

ни иода, — в хвост, в очередь, пачками, — величайшая радость, величайшая тайна зачатия и рождения! — пачками толпятся женщины, чтобы сделать единственную хирургическую операцию, — аборты, когда женщину связывают, распинают, и, — прекраснейшая радость, прекраснейшая тайна зачатия — скоблят металлическими ложечками, а не как в тифу, обривая волосы предварительно, а не после. И в приемных, в амбулаториях, дежурках хирургических отделениях — в хвост, в очередь, пачками — толпятся женщины, чтобы просить об абортах, — конечно молодые, ибо старухам не надо абортов.

— Как в инфекционных бараках единственная инфекция сыпет — сыпной тиф, — красная жуть небытия, — когда волосы на головах бреют, не как при абортах предварительно, а после. — Как по Балчугу, Сретенке, Смоленским, Солянкой, сыпят — с санками, саками и портфелями — бодрая сволочь. — Ссссс. — Ччччч. —

И Тропарову надо было обойти все пачки абортов и все больницы, — чтобы —

чтобы в одной, совсем неизвестной, получить от усталой хожалки рваную бумажку,

— где на одной стороне написано: «С совершенным почтением Торговый Дом Кукшин и Сын» — а на другой стороне, курино: — «Мария Гавриловна Трупарева, двадцати двух лет, скончалась от воспаления мозгов, схоронена на Донском кладбище, —»

— чтобы узнать Тропарову, что Мария умерла совсем не современной болезнью, —

чтобы пойти Тропарову на кладбище, в Донской монастырь, за Донскою улицей, — Донскою улицей, пустынною как Куликово поле, опустошенною, несмятыми снегами, и раззоренною заборами; и белою жизнью жило кладбище, странными белыми плитами, уничтожившими всякую статистику, — и выползло за каменный забор кладбище, на пустыри к березкам, к рядам могилок без крестов и с номерками, где десятками сразу и малыми кучками пачками, привычно, без попов и без ладана, хоронили под белым небом в землю белые гробы, привязывая к прутьям на могиле свежие номерки; и землекопы с планом рыли могилки впрок, а в сером дне и на березках каркали вороны и жрали на могилах в разрыхленной земле червей, —

— чтобы найти Тропарову на плане в конторе могилку Марии —

— и не найти там, — на огородах, — могилки: — Тут вот, тут вот, рядом, эта или та, или в том ряду, — милая. Милая. Милая. Мария. Маринька. Машенька. Родная. Милая. Сестриченка. Милая. Родная. Мариинка, единственная, сестреночка... —

— чтобы даже не плакать Тропарову,

чтобы у монастыря на обратном пути — фу, гадость! — в сумасшедшем доме, как пощечина, из форточки услышать истошно вывизгнутое, бьющее писком по щекам:

— Да здравствует Учреди-и-ительное Собрааниее!! — и сыпет мелкий снежок, и перезванивают колокола, —

— чтобы, — чтобы во Дворце Искусств, в черной церкви, понявшей Бога монахом, садонитом и урнингом, стоять Тропарову всю ночь медведем, с лицом тупым как холодная мясная котлета, тосковать, томиться, болеть, не зная места себе, глубоко вздыхать.

— Ве-е-ечная пааамять...

— Слушайте, Тропаров, вы веруете в Бога?

— Нет, но тут в церкви одиноче как-то.

— Ах, эти церковные колокола. Какая неиз'яснимая радость, какие неиз'яснимые ласка и задушевность пленят душу с каждым редким, чисто отчеканенным колокольным ударом. И несется гул, и вливается в душу, и пленит ее очарованием и восторгом!

На Волхонке, где Волхонка обрывается площадью Храма Христа, на углу, где раньше был цветочный магазин и теперь гараж, — из благодатного снежка и из тихого вечера, благодатного как яишенка,

вырос тот инженер из Голутвина, сродненный поездом в тоску.

— Это вы.

— Да. Здравствуйте. Ну как?

— Что же рассветы мучат?

Инженер ответил серьезно:

— Мучат — и отвернулся к Музею Александра III. — Мне как-то рассказывали, — один интеллигент, врач, кажется, женился не на девушке, прожил с ней тридцать лет, а потом — задушил: не мог простить ей недевственности. На суде выяснилось, что всю жизнь он ее истязал, любил и истязал. Вы понимаете?.. Собственно к чему это? — Инженер бледно улыбнулся. — Устал я. А знаете, мне второго рассвета встречать так и не удалось, с женщиной. У нее после аборта осложнения. — А знаете, меня Гомза и Отдел Металлов кажется пошлют на ваш завод восстанавливать индустрию. —

Инженер снял свой котелок и провалился, отрезанный кавшим фактом в переулок за музеем, в вечер, благодатный как яишенка.

В Зарядьи, у Кузьмы Егоровича, где из окон видны лишь валенки, низ пальто и юбок, а кирпичи стен с потолка до низу в книгах, — Кузьма Егорович, в вольтеровом кресле, в жилете, в валенках, в очках и с бородою Иоаннов. И слова его, как сельтерская:

— Верный сочинитель. Верный заветам русским. Читаю. Благословляю. Верно все описываешь, правду. Садись, гость дорогой. Дай обниму.

Солнышко помнишь. — Живу. Живу по старому. Сыт, слава Богу. Езды много. По всей России ездим. Книги собираю. И письма. Старых писателей. Материалы. Сколько теперь нагромили. Прямо приезжаю, и в дом, на чердаки и прочее. Архивы тоже городские беру. Много нагромили. Грамоту имею, царь Алексей Михайлович дал городу Верее. А литература — щеночки по ней забегали, щеночки, обоих полов. —

И Тропаров, заметавшись на стуле, неудоменно-медведем, с лицом как котлета:

— Кузьма Егорович. Ну, скажите мне ради Бога, — ну какое экономическое бытие определило, чтоб стать мне писателем, и ничего не любить, кроме писательства, и ходить все время по трупам? Ну, скажите мне ради Бога, — какое?..

И сумерки, и снежок, и за окнами в паутине — валенки, низ пальто и юбки, степенная как валенки, и семенящие как юбки, — и на инкрусстированном столике: бутылка коньяку, лимон и сахарная пудра.

— Зачем приехал?

— Посмотреть.

— Ну, выпьем. По-старинному.

И валенки, и борода Иванов, и очки, и жилет на красной рубашке, в вольтеровом кресле.

— Ира, Ява в рассыпную! Эклер в пачках! —

Марию хожалка обозначила — Трупарева. Писатель Дмитрий Гаврилович Тропаров. При чем — труп? И разве не разлучается слово Тропаров призмой, разлагающей лучи слова, — Тропа-ров. — Тропа проселков — в рвы.

И иначе: вор — а — порт, — ибо порт, где тысячи черных человечков торчат в корчах тюков, не ограблен ли — вором? Или иначе: — вор — апорт, — яблоки такие апорт, даже не зимняки, ибо умирают в золотую осень. Тропаров: вор — порт: труп. — Это луч, разложенный радугой.

— О, — это конечно совсем не то, что молот-серп, прочтенные с конца престолом.

— Ира, Ява в рассыпную! Эклер в пачках!..

И в Чернышевском переулке, озираясь по сторонам, татарин:

— Шурум-бурум па-купаэм!...

— Почему исчезли шарманки?!

Тропаров приехал в Москву по желтой карте Европейско-Российской Равнины, Императорского Топографического Департамента издания 15-го декабря 1825 года. Первая в России обсерватория (а также зал рапирный навигационной школы) праматерь всяческих теодалитов — Сухарева башня. И вся Россия триангулируется: первая в мире вся.

Аах, если бы, если бы, если бы,

— если-бы уничтожить фурункулез Сухаревки и хорчевен, извозчиков, мальчишек с ярой, — Дворец Искусств, — Анну, Наталью, Марию, Тропарова, — бодрую сволочь на Балчуге, — и оставить — больницы, кладбища, Лито, начальника-редактора в телефоне, Кузьму Егоровича, —

— тогда можно было бы, можно было бы тогда — всю Москву стриангулировать в сплошную сплошность.

Ведь исчезли уже шарманщики. Ведь нельзя уже поставить точку над *и*, ибо мы не союз писателей и пишем по новой орфографии.

И — лирическое отступление, —

— ибо отступление разве преступление, — когда отступление со всех фронтов было средством первейшим и первейшей сеппией для

— Р. С. Ф. С. Р. —

— ибо у каждого в кармане разве сердце не ранит — мандат... Ибо каждый разве не рад — глупейшему слову —

ко-ро-ва! — ?

Вот, советской работнице, совершенно ответственно необычайной, сказать бы:

— Товарищ, вместо квартхоза — не хотите ли свадьбы и тихой прозы — с любимым прекрасным нежным, в этакой квартирке с хризантемами, с самоварчиком неизбежным, со старыми темами — целомудрия, верности, чадородия, Тургенева. — Ну-ка. Где же любовные муки — на карточках... —

— Впрочем, к чорту. Воздух достаточно сперт.

Этой радости, этим дням и неделям — я кричу про свободу и младости, о величайшей метели. Надо величайшую анархию и величайшую метель, чтобы рассечь олигархию этих недель.

Впрочем, и это к чорту.

Князю Мышкину (из Достоевского) броситься надо с какой-то вышки, животиком, на землю, на Петербургские дворики, ибо всюду эротика, а все мы — алкоголики.

Впрочем, и это — к чорту.

Ибо быдло валит сволочью по Балчугу. И разве слышно теперь о самоубийствах? — цепкое быдло, — до абортов.

— Уезжаешь, Дмитрий Гаврилович, — это Кузьма Егорович. — Ну, прощай. Дай обниму. Верный сочинитель. А что баб без толку портишь — не хорошо. Порицаю. Дай обниму. А ежели услышишь — писателей где громить будут, напиши, приеду за материалами.

— Уезжаю, Кузьма Егорович. Писать надо. Да и того не по мне.

И четким кругом на спице Николаевского вокзала с Колончевки, стал циферблат, чтобы указать час начала эпилепсии поезда, — эпилепсию в волчью пустыню Российской Равнины.

Этой главы название:

ТРОПА В РОВ.

ГЛАВА III

И третьей главы название:
ВОЛЧЬЯ ПУСТЫНЯ РОССИЙСКОЙ РАВНИНЫ.

И от центра к периферии каждая истерика стоянок раскрепощала эпилепсию от желтых желтух карт, Ортечека и Утечека, чтобы эпилепсия была только эпилепсией, спутывая карты всех веков и десятилетий российских бытий, чтобы —

— чтобы в'ехать в земли товарища Ксении Ордыниной.

«Ветер рассыпает белый снег, швыряет ветви берез, свистит у корней и несется. Я иду за ним, прислушиваюсь и радостно жду. Я слышу крики и вопли: снежные вихри кружатся у моих ног, — я не оглядываюсь: нет ничего, на что я оглянулась бы туда назад. Обнаженные тонкие ветки скользят по моему лицу мимолетным холодным прикосновением. Я прижимаюсь к стволу, и он вздрагивает под моим плечом, точно живое от затаенного дыхания. Вершины кланяются одна другой и вдруг все вздрагивают, падают, кричат и стонут. В бешеной судороге отряхивают клочья снега и опять замирают, и раскачиваются медленно и уста-

ло, тихо шумят, прислушиваются и шепчут. И снова крики и движения. Волна воплей катится по вершинам, сгибаются осинки и белые кружева березок треплются по ветру. Ели шипят, машут ветвями, и изнеможденно замирают до нового порыва. Тонкие сучья ломаются и хрустят, как маленькие льдинки, и летят мертвые листья, путаясь в ветках: скорченный черный листок зацепился за пни, торопится и шуршит, продираясь сквозь чащу можжевельников и кружась с мятелью. Молодые березки поют и кричат, они преданны и пылки. Черный листок взлетает над вершинами, — сосны гулко и шумно передают известия о необычайных победах там, внизу. Что такое сегодня случилось здесь? — я слушаю и замираю широко раскрыв глаза, и удивляюсь, и понимаю. Я иду в диком поезде метели и ветра. Снежные пелены обвивают меня и скользят между рук.

— Даже если-б мы умерли!»

— Даже умерли, даже умерли, даже умерли!.. — — хватает ветер и кидает сугробы, буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая! — Даже, если-б мы умерли!

— И в метели и ветре, в черных сумерках, вереницей, след в след (и сейчас же следы заметает метель) идет стая серых волков, прибылые, самки и вожак впереди. Волки идут в ночь, — разве страшна им метель? Проселка уже нет, овраг остался вправо. В лесу на полянке, у опушки, полуразваленный, без служб (ибо лошадь и корова

стоят в зале) каменный дом смотрит в метель тремя освещенными окнами. Волки не подходят близко к окнам, садятся за деревьями и воют, как метель, вытягивая нерв за нер-вом. — Но она не видит волков, она проходит близко, мимо окон, тех трех уцелевших, ибо (она знает) в зале — каретный сарай, а в диванной и угловой стоят лошадь и корова, — в доме прожившем, как Соллогубовский на Поварской, столетье. —

И в этот час к полустанку, последнему перед городом, из метели наползает на избы полустанка поезд, чтобы весь полустанок дрожал и жил.

— Динь, динь! — второй звонок. — Жезлу, жезлу давай!

— Куда прешь, сучий нос?!

— Мое почтенье, Дмитрий Гаврилович! Как с'ездили? — Давай третий!

— Касатик, да я уж третий день...

— Папа, папа, здравствуй! Это я! — это Владимир, в тулупе и с тулупом в руках, степенный как осьнадцать лет.

— Куда прешь, сучий нос?!

Станционная изба курится махоркой, из темных углов, с пола торчат огоньки цыгарок, ждущие очередей недели, — визжат двери блоками, и в избе нет никакой метели. — Валенки надо надеть и тулуп, подпоясаться кушаком.

Дверь скрипит блоком, с'едает свет, поезд уже ушел и на станции мрак и метель.

— Слабо ты чресседельник подвязываешь, Володя.

— Папа, ты мне привез Мензбира «Птицы России»?

Скрипят сани, едут по столбам, мечет, мчит метель. Володька стоит в передке кучером. Мрак. И станцийка уже исчезла в черном мраке.

— Папа! А у нас новости, — волков, волков кругом набежало! У нас три ночи выли возле дома. В Дарищах корову задрали. А то все больше собак.

— Ну, как дома, Володя? Возил просо на рушилку? Корова причинает?

Ведь Тропаровы — единственные оставшиеся помещеки, ибо к девятьсот семнадцатому году у них ничего не осталось. И весной Тропаровы ели: грачей, ворон, птичьи яйца и крапиву, а отец и сын еще также — свежих лягушек. Сын Володька, пахарь, читает только Брэма и занимается энтомологией. В усадьбе все попрежнему бунинский Суходол, — жив, здравствует и хранит свои предания. — И лошадь бежит по-суходольски.

— А еще каких книг ты привез по естествознанию?

Нырнули в ухабу, — столбы отвернулись, — поле, метель, и едут уже опушкой. Шумит лес и гогочет: «Мчит дикий поезд метели и ветра».

— Даже если-б мы умерли! —

— Даже умерли. Даже умерли. Даже умерли, — хватает ветер и кидает сугробы, буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая...

И от сосен, из белой пелены метели, идет человек.

— Подсадите, пожалуйста. Я сбилась с дороги.

Володька тянет возжи.

— Пррр!.. А тебе куда надо?

— Мне?.. Куда мне? — Я сбилась с дороги.

— Да куда ты идешь-то?

— Я?.. Мне надо в город. Я сбилась с дороги...

— Эвона!.. Ну, а мы на Дарищи! Нно!

— Все равно, все равно, я поеду в Дарищи! Подсадите! Ведь я сбилась с дороги...

И они втроем, молча, в метели, едут по лесу. Не видно того мертвого листка, что сейчас взвился над соснами.

Лошадь шагом ползет в овраг и из оврага. По откосам на вырубках стоят осинки, можжуха, березки и гудит на просторе ветер. И из метели, рассекая метель, горят три глаза освещенных окон.

Молчат.

— Ну, тетка, слезай! Приехали. Так вот, ступай рубежом и будут Дарищи, — это Володька.

— Это ведь вы, писатель Тропаров?

— Да, я.

— А я, а я — Ксения Ордынина. Мне собственно не нужно в Дарищи.

— Товарищ Ордынина? — Здравствуйте! Это мой сын.

Володька в'езжает с санями в развороченное парадное через прихожую в зал. За семью комнатами, в другом конце дома — жилые комнаты. Горит железка. Коробом свисла с потолка штукатурка. На огромной кровати гидра спящих голов: это дети. На столе под лампой: капуста, огурцы и яблоки, — ведь яблоками и муссом из тыкви всю осень питаются Тропаровы. — Здравствуй, Суходол, — ибо за стеной, в другой комнате, другая комната по всем стенам — от потолка — в книгах с кожаными корками.

— Здравствуй, Ариша. Как дети?

— А папа мне привез «Птицы России» Мензбира ...

— Даже если-б мы умерли.
Даже умерли! Даже умерли! Даже умерли! — хватает ветер и кидает в сугробы, и взимает пыль, и мчит дальше... Черного мертвого листочка не видно над соснами, — мертвый и так высоко! К чему Дарищи?

— Слышишь, Володя, а ведь это воют волки.

Если же поезду, который скинул Тропарова на полустанке перед городом, пройти вниз под город еще сто верст, то в'едет он в земли белых, где. — — —

А черту с чертом и Богом, мастеру лощинных дел, если взглянуть теперь с холма, то холмы уже не задний план ренесансных панно, — а белая пустыня, и из белых пен снегов, под белым небом ступают рати в тридцать три богатыря — лесов, осироченных волками, снегами, ночами, морозами. Но попрежнему в ночи и в волчьем мраке, изрешеченный домной, лоскутьями турбинных электричеств, газовыми фонарями, воют воем заводского гудка, метелью плачет, гогочет гоготом лесов, гнусавит волчьим воем — лощинных дел вершитель, черт с чертом и Богом, черт черной индустрии. И попрежнему Егорка ржет: он Красной Горке миллионы девок бережет! —

А в городе — уездный с'езд советов.

— На развалинах, по горьким проселкам, в рассветах, из лесов и полей, от лучин, от овчин, от печей, от гужевой повинности — от волсоветов и от кол-и-совхозов с'езжались делегаты, в зипунах, в тулупах, в лаптях, — товарищ, подсади! — чтобы поставить в городе лошадей на постоялом дворе советской республики № 3; — в горьких рассветах, от завкомов и цехов, от жен, шахт, станков, фрезеров, аяксов, заборников, шли рабочие, в прозодежде

и башмаках на деревянных подошвах, — чтобы всем стать еще с улицы в доме Советов в очереди за хлебом за колбасой и махоркой, и на поверку мандатной комиссии. —

— Весь под'езд и фойэ в Доме Советов в огромных рабочих из «Росты» художника Полуника. В исполкоме, в финотделе, в эко, в земотделе, в комнатах 7, 13, 15, 3 — жарче, чем когда через штаб товарища Черепа приходят тысячи «рода оружия, основания статьи, подписи руки» до писцовой судороги от пота портянок и тысяч. И в полуподвале — Женотдел, где оберируют и не оберируют, где в штанах и юбках, анкерируются,культурнопросветительствуют, командируются, просыпаясь. На двери в зал заседания висят изречения из послания апостола Павла:

«Кто не работает — тот не ест!»

— Товарищи! кто получил колбасу . . . С'езд сейчас открывается! кто получил колбасу . . .

— Погоди, поспешь. Чай не пожарна команда.

— Одно дело, надо подкрепиться. Бывалы-ча, как в старину-то, завертки на оглоблях у саней руками отогревали, а тепери-ча!! —

— Э-эх, касатка, мало ты колбасы даешь, сё-таки! . .

— «Э-это бууудет последний и решительный боой! . .» В окрестре самое главное — барабан. — Шшшш—шелестят лапти. Мандатная комиссия. Этак почавкивая, открывают с'езд советов — доедают колбасу. «Кто не работает,

тот не ест». И махорка, этак колечками, идет под люстру. Где некогда в Государственном Банке стоял Александр II, сейчас стоит Ленин — в Москве, на Кремлевской площади, в капке. В зале собраний не разбелилась еще вчерашняя махорка, и хотя и не видно его, все же лежит где-то, скребется и дышит старый огромный, в чесотке, ирландский дог. — Ну, конечно: доклад о международном положении. Товарищу Ордыниной перекинуться через кафедру, руку закинуть, и: —

— Интернационал! Антанта! Всемирный капитализм! Всемирная революция! Кулак малых государств. Малая Антанта. Белые, зеленые, красные: красная армия, зеленые банды и белая сволочь! — К экспрессе дней высот Памира без дней сошествия — не со креста, а с Памира, не Христа, а нас!..

— А ничего бабочка. Красивенькая.

— У-у, люта.

— А маловато колбасы дали, сё-таки...

— Слышь, Мерзеев, а у нас в Чанках волки мерина задрали у Павлюкова.

— Нну?!..

«Это бууудет последний и решительный бой!..» И товарищу Ордыниной схо-

дить: не с Памира, а с кафедры.

— Товаришши! Потому как я беднейший крестьянин стою на трех уездах, в трех уездах моего перуха слыхать, потому я хочу высказаться на ризалюцию. У нас, товаришш, не социлизм, а скотолизация. Вон в том углу сидит господин товарищ Буфеев, а он из нашего совхоза, заморил трех народных коров и буржак! А лизарюцию мы примаем. Правильно. Буржуёв нам не надоть. А што касается камун, то тоже не надоть!..

— Ооо! Ааа! Ууу!..

Звонок из призидиума:

— Хорошо,товарищ, будет принято к сведению!

И за резолюцией по докладу товарища Ордыниной выступает, вне очереди, — перс, что случайно закинут сюда, член Це-ка Ир-ка-пе, не по-восточному радостный и по-восточному наивный. Он говорит по-английски:

— ... ??? ... ?? — — —

Мужики слушают косо, иные развязали свои узелочки, чтобы поесть пока непонятно.

Затем был доклад исполкома:

— Товарищи! вы единственные хозяева революции, с'езда и уезда!

Затем был обед: кто не работает, тот не ест!

Затем был доклад земотдела. И заканчивая доклад (из лесов, из полей, от деревень и сел приехали делегаты!), докладчик сказал:

— А в заключение я должен сказать, товарищи, про волков и о мерах, принятых в борьбе с этим бичем рабоче-крестьянской разрухи!.. Пока в зем-

отделе зарегистрировано семь стай в количестве сорока пяти волков. Мобилизуются все охотники уезда и вас, товарищи, мы просим всемерно помогать на местах!..

— Ооо! Ааа! Ууу!..

На развалинах, из рассветов, от лучин — от волков — приехали делегаты, в зипунах, в тулупах, в лаптях. — Дог заворочался в зале.

— Воо! Ааа! Ууу!..

— Конечно, товарищи-и! Мы победим и эту разруху!.. —

— Арише Рыковой —

— ах, как громко смеется она, девка в двадцать семь, — не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе и папашу, как бочка, и мамашу, как щепка, и каменный дом с мостовой на дворе, — ей, пополневшей даже, много раз стриженной всюду, в бане подпрятавшей сало свиное лукаво — ?!

Папаша же Рыков, —

— папаша же Рыков вдруг скрылся, как кот Карла Карловича, в каких то бурьянах: стало быть барометр упал к непогоде.

...С холмов видны лишь пирамиды каменноугольной пыли — кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского...

Но барометр упал не потому, что идет с'езд советов (с'езд советов у меня только, чтоб сказать о волках), а потому, что внизу поперли банды белых.

В каменном доме Ксении Ордыниной, из которого выгнаны всяческие Ариши Рыковы и мимо которого ходят двумя ногами на четвереньках, избывать Ксении Ордыниной ноябрьскую ночь. Ксения одна избывала часы до товарища Черепа. И дом, и город, и ночь, и тишина — избывали папашу Рыкова. Ксения одна избывала часы до товарища Черепа, от губ которого пробегали судороги по спине, и на яву шли сны — о снах.

— Вот эти сны. Как их передать...

— Каждый шорох судорогой пробегал по спине, немотствовал ночь в ноябрьской ночи, в морозе Чека.

Но этой ночью не было никакого собачьего наваждения, телефон же прозвучал резко:

— Товарищ Ордынина. Вас просят в Чека.

— Что?

— Идут допросы. Перебежчики.

Это — за сутки до с'езда.

Ночь. Шипят сосны.

Еще с синих сумерок поднялась слезливая луна, шла над снегами калкая поземка. Идут

над землею мглистые облака, луна за ними мутна и поспешна. Перед ночью на суходоле, там, где всегда собирается стая, выли волки, звали вожака.

Вожак же лежит в буреломе — весь день и всю ночь. Шипят сосны, и кругом молодые елочки, уже переставшие хмуриться. Много лет назад прошла здесь необычайная гроза, свалившая борозду сосен. И здесь волчиха приносила детенышей, которых надо было кормить. Волк жил, чтобы рыскать, есть и родить, как живет каждый волк. — Не было едова, были вьюги, волки садились вкруг, лязгали зубами и выли ночами, тоскливо и долго, вытягивая нерв за нервом.

Шипят сосны, и волки — воют, воют, воют, призывая вожака.

Вожак же лежит в буреломе.

Три ночи тому назад, за оврагом, у тропы к водопою у молодых елочек, заваленных снегом, волки в черной ночной мути, шаря по полям, нашли дохлую овцу. Долго сидели вокруг нее волки, воя тоскливо, труся придвинуться ближе и пощелкивая голодно зубами, слезясь жесткими глазками. А потом, когда бросилась стая с визгом и воем на дохлую овцу, с поджатыми хвостами и — точно под палкой собака — с изогнутыми костлявыми спинами, — в серой ночной мути, — не заметила стая, как попала в капкан — самка вожака, чтобы метаться на лязгащей цепи и выть до рассвета, — и

утром пришел Володька, вскинул самку на лыжи и увез в залу к скотине.

Шипят сосны. Ветер дует колкой поземкой. Вожак понуро поднимается с вылежанного места, тоскливо тянется, сначала передними ногами, затем задними, и лижет запекшимся своим языком снег. Вожак идет на лысый верх суходола из деревьев, слушает, нюхает. Ветер здесь много крепче, скрипят деревья, из черного поля несет пустотой и холодом. Вожак воет протяжно. Ему никто не отвечает. Тогда он стелет полями, к водопою, к тому месту, где погибла жена. Страшно было повстречать его в ту пору в пустых полях, и ветер дует как злой старичишко в колкой поземке.

— И далеко в пустых полях вспыхивает красный глаз поезда.

В международном вагоне, в спокойствии Пульмана, где не жаль желчи желтухи и карт Великой Европейской Российской Равнины издания 15-го декабря, в ночь — в ночи, перед последней остановкой у города, у окна в корридоре, стояли двое, сложив уже свои чемоданы, и говорили в тишине Пульмана по-английски, — перс, член Цека Иркапе, и инженер из Голутвина.

— Когда из-за рубежей смотришь на Россию, — это грандиозная картина, я не нахожу слов. Нищая, раздетая, голодная — прекрасная женщина Россия стала против всего мира и за весь мир. И всему земному шару, кинутому вселенной в котлы революций, несет ослепительную правду, против кото-

рой нет честного, имеющего силу поднять руку и слово. Я был в Англии, в Индии, в Персии, — весь мир дрожит, сотрясаемый теми волнами, что широким простором идут в России. Вы чувствуете, какую ослепительную, какую грандиозную, — я не нахожу слов, — какую невероятную правду несет великая Россия, прекрасная мать народов... Величайшая стихия, которая мучится прекрасными родами. Где-то в Джунглях, в одиночестве, я чувствовал, как на северо-западе грандиозная гроза вулканов азонирует мир, — и даже Джунгли дышут этим азоном. Моря и вулканы — переместились... В тишине Пульмана, в вагоне как буржуа, в полумраке корридора, пахнущего сулемой, перс, разветривший уже восточные свои запахи, вскинул руками и вскрикнул непонятное, странное, на родном своем языке.

— Да, через сто, полтораста лет люди будут тосковать о теперешней России, как о днях прекраснейшего проявления человеческого духа, — сказал раздумчиво инженер. — А у меня вот башмак прорвался, и хочется за границей посидеть в ресторане, выпить виски.

— Да-да! Невероятная, ослепительная поэма!

— Как в поезде, в теплушке, за суматохой рук, ног, слов, мешечников, вшей, остановок, уклонов, под'емов, — не заметен путь в две тысячи верст, отсвиствевший, отмелькавший ноча-

ми, восходами, станциями,
и видны лишь эти под'емы,
восходы, уклоны, вши и
мешки в матершине, —

— так —

не приметен путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего от Николаевских трефленок будок

— до

вулканов Памира.

Поезду же, если не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в землю белых, где — — —

Иван Альфонсович Морж, никаких кругов не делавший по революции, пришел к Дмитрию Гавриловичу Тропарову, сел на диван в комнате, там, где все стены в полках книг, курил, сыпя пепел себе на жилет и живот (и папироска торчала в усах, как клык), распространял странные запахи пота, валерьянки и водки, — и разговаривал: о девочках, — очень невнятно, осложняя свой диалект — ну-с, вот-с — вот-с, ну-с — и вообще сопением. Из голенища доставал Иван Альфонсович Морж бутыль с самогоном, а уходя из другого голенища оставил — пачку белогвардейских газет: «Время» Бориса Суворина и «Россию» Шульгина и Иозеффи, каждая газетина по тысяче рублей, по старой орфографии.

Дмитрий Гаврилович крикнул по комнатам:

— Володька!.. Задал скотине?! — свари картошку.

И, в шубе, в валенках, в ночном колпаке, лег на диван, — читать газеты.

КАЗНЬ ПАЛАЧА МАЙОРОВА

Вчера, за Херсонскими воротами, былъ произведенъ въ исполненіе смертный приговоръ надъ мѣщаниномъ Майоровымъ — палачемъ Н—ой Чрезвычайки. Военно-полевой судъ приговорилъ мѣщанина Майорова къ смертной казни черезъ повѣшеніе. Казнь совершена была публично, при большомъ стеченіи воинскихъ чиновъ и населенія.

Г. Губернаторъ принимаетъ ежедневно кромѣ праздниковъ, въ собственномъ домѣ, отъ 11-ти до часу дня.

Начальникъ Штаба 1-го Армейскаго Корпуса генералъ-майоръ Доставлевъ принимаетъ

СОВѢТСКІЙ АГНЕЦЪ

Я рѣшилъ во что бы то ни стало сдѣлать г. Фрида знаменитостью. Это мой капризъ — сдѣлать еврейчика знаменитымъ.

Беру г. музыканта, поднимаю на кончикъ пера, и уже г. Фридъ не жалкій музыкантъ, а личность, не менѣе прославленная, чѣмъ . . . ну, хотя бы взлетѣвшій вчера въ качеляхъ товарищъ Майоровъ . . .

ПОДЪ ГНЕТОМЪ СТРАСТИ — кино-драма съ участіемъ лучшихъ артистовъ. Оперетта ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ.

БѢГА И СКАЧКИ

Тотализаторъ. Наши фавориты: 1) Каприфо-

частныхъ лицъ и гг. офицеровъ отъ 6-ти до 8-ми часовъ вечера въ Дворянскомъ Собраніи. Тамъ же принимаетъ генералъ-лейтенантъ Кутеповъ — гг. офицеровъ, врачей, чиновниковъ и нижнихъ чиновъ, чему идутъ часы.

ПРИКАЗЪ. Я бью на фронтѣ красную сволочь. Бѣлая сволочь, развяжите свои чемоданы. — Генералъ отъ инфантеріи Свищевъ.

Побѣда ген. УЛАГАЯ.
Бесѣда съ ген. Мамонтовымъ.
Сообщеніе генерала Доставлева.
Ген. ДѢЕВЪ о снабженіи ДОБР-АРМІИ.
Ген.-лейт. РАГОДИНЪ.

лій-Лу, 2) Гимнъ, 3) Конюшня барона Врангеля.

КРЫМЪ: Продаются дачные участки.

ПРОДАЕТСЯ дешево бумаго-ткацкая фабрика Сучкова, мѣстонахожденіе фабрики въ Богородскомъ уѣздѣ, Московской губерніи.

ДѢВУШКА, любящая дѣтей, согласна въ отъѣздъ.

За 2.500.000 руб. продается книга НИЛУСА.

Завтра въ кафедральномъ соборѣ будетъ отслуженъ благодарственный молебенъ свящ. Восторговымъ. Желательно присутствіе гг. офицеровъ.

Грандіозное молебствіе въ Севастополѣ. Религіозный подъемъ среди нижнихъ чиновъ.

Воззваніе архіепископа Кронида. Проповѣдь іеромон. Сергія въ ближнемъ тылу. ВАТИКАНЪ и большевики.

«Венерическія болѣзни и война» — статья проф. Пѣхова.
Проституція на фронтѣ.

ЖИДЫ въ Ростовѣ на Дону.
Латыши въ Первопрестольной.
Ген. ТРУТНЕВЫМЪ разбитъ полкъ МОРДВЫ.

Парижская Comedie française въ скоромъ времени дастъ спектакль, посвященный Ля-Фонтену. Послѣ этого пойдетъ пьеса a Coipe Encan tee. Парижская кинодрама готовитъ картину, въ кот. главн. дѣйствующимъ лицомъ является покойная императрица Евгенія.
— Мы поможемъ вамъ, КАЗАКИ, всѣмъ, чѣмъ можемъ. Мы знаемъ, что свободные КАЗАКИ борятся съ ярмомъ антихриста, сидящаго въ Кремлѣ Москвы и пытающагося поработить

Развратъ среди молодежи. Нижніе чины по деревнямъ.

Охрана Петрограда поручена КИТАЙЦАМЪ.
Декреты Жиднаркоміи.
Ген. Свищевъ издалъ приказъ о разстрѣлѣ латышей.

ВРАГИ ДОБР-АРМІИ.
Бор. Суворинъ насчитываетъ слѣдующихъ враговъ Добр-арміи: Совдепщина, Петлюровщина, Махновщина, Германія, Румынія, Турція, Латвія, Украина, Бессарабія, Бѣлоруссія, Грузія, Арменія, Азербейджанъ, Алхалхаланскій округъ, Казань, Башкирія, Семирѣчье. Все это, конечно, — работа Германіи и торговля Троцко-Бронштейна.
Г. Г. КАЦЪ (Центральная ул., соб. домъ).
РЕНСКОВОЙ ПОГРЕБЪ, съ продажей

СВЯТУЮ РУСЬ терроромъ китайскихъ палачей. —

Начальникъ Великобританской Миссіи ген.-майоръ НОКСЪ.

виноградныхъ винъ и крѣпкихъ напитковъ.

Съ почтеніемъ

Г. Г. КАЦЪ.

•

— Папка! Готова картошка!

— А? Готова? Ну, очисть и тащи, брат, сюда! Какая же это, братец, в сущности мерзость!

— Что, картошка?

— Нет, газеты!

Если же поезду не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в земли, где даже в бой идут офицеры с чемоданами, а добровольцы (есть и такие в Добр-армии) идут в атаку: в цилиндрах и в трех енотовых — одна на другую — шубах, расползшихся в мышках.

— «Я бью на фронтахъ красную сволочь. Бѣлая сволочь, развяжите свои чемоданы.» — Генерал же Свищев получил титул и стал:Свищев-Крымский. Белая сволочь поперла наверх.

— И здесь

в городе «Воля Коммуниста» на желтой бумаге, как Ортечека, кричит сплошным митингом, красным, как кровь.

Красное, как кровь! — Мои мысли о крови —

— (этой кровью

буйной, красной и черной,

кровью

пишу я, ею
же убить могу, ею же могу пойти на огонь).

— Вот письмо Тропарова
к Ордыниной:

«Уважаемый товарищ,

Мне очень хотелось бы поговорить с Вами по ряду вопросов, конечно, о революции. Если это не утруднит Вас, будьте добры назначить час, когда я мог бы Вас увидать.

Дмитрий Тропаров.»

— Володька! Отнесешь в город!

Метелет метелями декабрьская ночь. В каменном доме Ксении Ордыниной, в кабинете перед камином кресла, и огонь в камине, и нет ламп, чтоб шарили тени. — И ужели часы на руке, под черным глухим рукавом, не разорвутся как сердце, — в десять. Чайник же и керосинка — перекипят трижды, на столике рядом, синим огнем в бурых тенях — синими искрами в корках Брокгауза. А там, на полке за Брокгаузом — на тарелке и под салфеткой — пирожки с вишневым вареньем: ради них канули утро и баночка вишневого варенья по купону карточки ответственного работника № 13. И Ксения Ордынина у камина — в черном платье, как дама, с белым платком у губ, с глазами, как перья павлиньи, — и черная бровь изогнутая, изломанная правая, — поднята высоко на высокий, белый, бледный лоб, — черная дама у камина — совсем не заанкеченная, незакомандированная, незамитингованная. А чайник — а чайник должен, должно-быть, перекипеть трижды, ибо никогда

раньше он не был изучен. — А Тропаров — в изученную дверь — вошел двумя головами выше, чем Череп.

Ни часы, ни сердце не разорвались.

— ... Я кипятила себе чаю. Вот лепешки. Подложите полено в печку...

— ... Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви, любви как кровь, во имя деторождения, должно быть. Пол, семья, род, — человечество не ошибалось обоготворяя пол. — Ну, да, — голод физический и голод половой. Это очень неточно: следует говорить, — голод физический и религия пола, религия крови...

— ... Берите лепешки...

— ... Я иногда до боли, физически, реально, начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, — пронизаны полом, — нет, не точно, пронизаны — — — —, даже народ, нация, государство, человечество, вот носовой платок, хлеб, ремень. Я не одна. У меня иногда кружится голова и я чувствую, что вся революция, — вся революция — пропахла — — — — —

— ... Возьмите лепешек...

Почему не разорвались ни часы, ни сердце? — Когда все тело разорвано, раздвоено — половыми органами? — Вот кровь, горячая, красная, — каждая кровинка от руки с платком у губ, от изломанной брови, чистейшая, идет — креститься страстной неделей. А лепешки — на столе, на салфетке и под салфеткой, на маленьком столике.

— . . . Я вглядываюсь в культуру запада и культуру востока. Культура многоженного востока — разве не бархаты и атласы носят, когда человек — после акта — откинулся на диван из пестрых ковров и на плечо женщины и смотрит в звезды, — все, — только светила в атласах небесной тверди, все познано, и весь мир — во влаге, в усталости обессиливших — — — — — —? И культура запада, стальная, цементная, обнаженная, — разве не человек с напряженными мышцами как сталь и с напряженною волей, — тот, что сегодня — через час — добьется женщины, а сейчас — в этот час — надо ставить небоскребы, строить дредноуты и дирижабли и подпирать шею костяным воротником, чтобы в одноженной стране ему сильнейшему и первому взять первую женщину. — . . . Революция, быт революции, — Карл Маркс ошибся: нельзя взять все в скобки разверсток, карточек и плакатов . . . Россия, революция, я вижу как огромной волной . . . —

— но тогда зазвонил

резко телефонный звонок.

— Товарищ Ордынина. Вас просят в Чека.

— Что?

— Открыт заговор.

— Ксения Евграфовна, я хотел спросить . . . Не вы ли писали мне письма без подписи? — это Тропаров, протягивая руку.

И Ксения ответила — не сразу, тихо, затомившись:

— Да, я... Да, я писала вам, Дмитрий Гаврилович... И для Вас я спекла сегодня пирожки... с вареньем...

Через штаб товарища Черепа шли тысячи на фронт (изодранных людей) и тысячи с фронта (очень цинготных и очень упитанных людей), — штаб товарища Черепа изнывал от тысяч и пота портянок, и от того, что правая рука каждого впадала в писцовую истерику, вписывая в пустые места листков и бланков:

«Имя, отчество, фамилия,
— род оружия, — из
граждан, — на основании
статьи, — подпись руки».

Но ведь сказано классикам, что в России вещь, кроме прямого своего назначения, имеет второе: —

быть украденной, —

— и вдруг

в смерче, спутались, стасовались карточки и бланки: род оружия влез в подпись руки, имя село на фамилию, основание статьи стало гражданином, — очень цинготных откинуло бумажным смерчом вновь на фронт — очень упитанные позанастряли в доме Аришинок Рыковых, — а на товарища Черепа, — на товарища Черепа пестрым бумажным смерчом — посыпались тысячи денег, — ибо —

— за десять минут до того, как пришли арестовать товарища Черепа, он, распоясанный, с Моржом и водкой, полетевший по воле всех чертей лощинных дел, — говорил углубленно,

— продолжая в сущности мысль Ксении Ордыниной: — Революция, брат... Я хоть пьян, а я понимаю... Меня, может, под суд отдадут, а знаешь — а знаешь, кто все подстроил? — Ксюшка Ордынина!.. Революция, брат, — меня завтра на фронт пошлют или в Чеке расстреляют, или Врангель повесит, — так что же — кроме бабы? — Все равно, как подыхать. Зараженным или здоровым... А.... а если я жив останусь, то тогда — то тогда мне сам сифилис нипочем... Я хоть пьян, а я... понимаю... А Ксюшка Ордынина, знаешь, в Чеке... —

— В дверь постучали,

побоцали, вошли.

— Гражданин Череп. Именем Российской Социалистической Советской Республики вы арестованы. —

— И на ордере подпись: —

— Ордынина.

В Чека — против дома советов Чека (и в полуподвале дома советов — Женотдел) — в Чека камеры были в полуподвале, в камерах под кирпичным потолком горели электрические лампочки в мушиных пятнах и камеры были раньше кладовыми, а в камере № 3 — до прихода следователя — мирно спал на столе, с делами под головой и с портянками на ручках кресла — член Чека: — — не зря в делах поселились клопы. В мезонине же Чека всю ночь пиликал кто-то на гармонике и пел одно и то же, очень миролюбиво:

«Под горой живет портниха,
На горе живет портной.
А портниха: — хи-ха, хи-ха!..
А портной же: ой-ой-ой!.
... Под горой живет портниха,
На горе живет портной... —

— так же

как «У попа была собака».

В Чека было очень чинно.

Ксения Ордынина, как дама, прошла в камеру № 3, с опущенными глазами, и были глаза, как павлиньи перья. Член Чека слез со стола, почесавшись, обулся, ушел. В темном корридоре, на скамьях, где спали (или не спали? — в оцепенении, как сон) арестованные и наверняка спала стража, потянувшись, кто-то уронил винтовку, боцнул сапог. Заспанная, полуодетая, с волосами, заткнутыми по ночному, спустилась сверху и прошла в камеру № 3 стенографистка. Из камеры № 3 в полуотворенную дверь — во мрак корридора — крикнул дежурный член:

— Товарищ Семенов! веди!

В темном корридоре, во мраке, стадом баранов прошумели стесненно шаги. Дверь в камеру № 3 притворилась, и в тишине корридора, раскуривая собачку, осветился спичкой степенный российский солдатик в фуражке с оторванным козырьком, с бородкой мочалом, с сурьезностью на лице, и с винтовкой меж колен, раскуривая собачку, промолвил степенно солдатик частушку, — не пропел, даже не речитативом, просто сказал: — Афин-

цирик молодой, что ты котисси. В Чрезвычайку попадешь, не воротиссии! .. — и вздохнул, помотав головой.

А портниха: хи-ха, хи-ха...
А портной же: ой-ой-ой... —

— Это в тишине запиликала вновь, одно и то же, миролюбиво, гармоника.

—

— Ааа-аа! ..

— Вот письмо Ксении Ордыниной — Тропарову:

«Я думала... Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но женившись мучатся, если жена не девушка, я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдавшись впервые, несет и душу и тело. —

«Всю душу и все тело отдает она другому мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится как вор и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость она отдала уже другому, — не могла не отдать отдаваясь...

«Я не попала в число этих девяносто девяти...

«Он был вчера у меня, и я думала, что у меня разорвется сердце. Это еще с Николаевского института, когда глупая девчонка полюбила необыкно-

венные рассказы. Я не знаю почему не разорвалось сердце. Какая грандиозная, какая прекрасная вещь любовь в мире, — какая невероятная.

«Жил-был один человек, но он не любил и не писал стихов. Он был безмерно красив и от губ его нельзя было оторваться. И он приходил к женщине и делал с ней все, что хотел, все что хотел, как с рабыней, потому что женщина была опустошена грандиозной мечтой. Но эта женщина не попала в число девяносто девяти. И вот настал миг, когда к женщине приблизилась грандиозная любовь, — ибо к ней приходил другой, избранный навсегда... И так сложилась судьба, что тот, который не писал стихов и был безмерно красив, взявший тело женщины, стал перед женщиной; их разделял письменный стол; около женщины лежал револьвер; в комнате стояли усталые солдаты. И вдруг женщина вспомнила все, что было, как ее ограбили. Ей показалось, что сердце ее разорвется от боли и от наслаждения мести, и она так завизжала: она завизжала так, что тот человек упал в обморок, а стенографистка не сумела записать. Потом этой же ночью в каменном погребе женщина продыравила два черепа: того человека и другого, и рука ее дрогнула лишь тогда, когда она дыравила череп второго, — мозг брызнул на стену.

«И знаете? — Женщина испытывала физическое наслаждение, расстреливая.

«Но это — не для Вас.

«Кто знал это — тот никогда не вернется, если же вернется — погибнет. Аминь.

«А вот что для Вас. Жила-была одна девушка. Она полюбила и пронесла любовь через всю жизнь, а у нее была несчастная жизнь. И она написала стихи. Для себя, для одной себя, и для того, которого любила. И в конце она приписала: «Вот я не сплю эту ночь, а Вы не идете. А я не могу нести этой любви и она задавила меня, меня, чистую, наивную, ждущую, — рабыню! Но у меня устала рука. Аминь». —

ГЛАВА IV

У писателя должна быть толстейшая записная книжка. —

Но кот Карла Карловича, должно быть, размножился на все бурьяны Российской Федерации. —

Володька утром в шубе на белье читал Брэма, утверждая Суходол. Затем Володька колол для железки чурки и распаривал в кастрюле на обед себе и отцу сушеных лягушек. Дмитрий Гаврилович в шубе на белье еще не вставал с постели, закусывая яблоком папиросу и с Пыляевым в руках, дожидаясь, пока нагреется железка. Таз с водой Володька притащил еще с утра, еще с утра Володька опростал ночной горшок и вновь поставил его под диван, — а день был желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом как воск и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.

Тогда принесли письмо. —

— И вдруг, —

— как звук бича и бьющее бичом как примитив,

чтобы разрушить Суходол, или утвердить на дыбе, как памятник Петра, — чтобы прозвонить с колоколен котом Карла Карловича, —

— забыв железку, таз с водой, ночной горшок, — заходил обхлестнутый бичом пастушьим — по всем комнатам — не запахнувшись, — писатель Дмитрий Тропаров.

— Владимир! Дверь запри!

И путь — из кухни в кабинет, из кабинета — в зал к скотине, из зала — снова в кабинет.

— Владимир! Если меня спросят — дома нет. И дверь запри.

И в комнате — полстолетия дверь не затворялась, другая же в гостиную — забита лет пятнадцать. Диван отставлен — дверь закрыта.

— Владимир! Где ключи от двери? А эту дверь — в гостиную — сейчас же отвори.

— Да что ты, папка? Что с тобой?

И путь — из кухни в кабинет, из кабинета — в зал к скотине, из зала — снова в кабинет.

— Владимир! Ты меня не раздражай. И дети чтобы были дома. Принеси топор. И матери не говори.

— Да что с тобой, папка?

— Владимир. Я расстроен!

Четверть часа, — точно комната как банка с кислородом, и надо удвоить, утроить поспешность движений.

— Владимир, дай лопату и ящик разыщи. А сам заложишь лошадь и поедешь в город, — попросишь, чтоб приехал к нам Иван Альфонсович. Но так, чтобы никто не видел.

Четверть часа, — как лента кинематографа, когда демонстратор спешит.

— Владимир. Я тебе сказал, чтоб ты сейчас же ехал.

В подвале разворочать каменную стену, за кирпичами вырыть яму (в седьмом поту, без шубы, со свечой) и в яму закопать:

—Тоолстей-шие записные книжки! — Ибо бурьянами бывают и каменные стены, а кошками — блокноты.

Морж приехал в маккасинах. Из клыка папиросы посыпался пепел на живот и жилет: ну-с — вот-с, вот-с — ну-с. Все двери прикрылись таинственно. Кастрюля с лягушками высохла.

— Ты что?

— Вот прочтите, Иван Альфонсович. Ведь товарища Черепа это... — это писатель.

— Расстреляли, — ну-с... — это Морж. — Я у него в гостях был, когда арестовывали. Насилу отпустили.

И глаза у писателя вылезли из орбит: так тяжело (в удивлении сплошного нарочно), что надо было упереть руки в бока, чтоб сохранить равновесие — глаз: в их удивлении, вопросе, в возмущении (нарочных) и в подлинном страхе.

Морж вставил в усы второй клык папиросы, чтоб с'экономить огонь. И вынул круглые очки из очешницы, оседлал ими нос, — чтобы быть оседланным к чтению, — а за стеклами сквозь лупу по кошачьим глазам побежали красные жилки мирового склероза. Комната же была банкой кислорода только для писателя, — ибо теперь по суходольным делам сменил его Морж, в моржовой неспешности.

— Вот прочтите, Иван Альфонсович.

Морж начал читать: с серьезностью, а потом — с удовольствием, вынув клыки изо рта, — а потом, вдруг почуял запахи валерьянок и начал чесать под усами (прижмурив глаза) всей пятерней и снова вставил клык: в поспешности.

И сказал:

— Уезжать надо. Скрыться.

— Но куда же, — куда?!

— К белым. И попутчик тут есть — инженер из Москвы. Везет золота фунт. Я маршрут приготовил, ныньче к ночи и ехать...

А день желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом как воск и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.

— А ты выпей, — самогон очень отличный, ну-с...

— Там вон есть вареные лягушки...

— Не употребляю.

— Я расстроен, Иван Альфонсович... Я постарел на двадцать лет...

Нно — бурьянами бывают, стало быть, не только каменные стены, а и белоземли.

Ночь. Шипят сосны.

Немного ночей, но на том месте, где были капканы, ничто уже не говорит о смерти — уже развеяны запахи самки, развороченный снег заметает поземка. Луна идет вниз и краснеет мутно, пляшет в поспешных облаках, поземке. Волк глядит на луну и воет тоскливо и глухо, лунный свет отражается в гнойных слезинках. Волк опускает голову и молчит. И глаза горят зелеными огоньками. — Здесь, — в лесу, по суходолу, в оврагах, — тринадцать лет жил волк. Теперь его самка лежит в зале усадьбы. — А вдалеке воет стая, голодно и злобно, призывая, призывая вожака. Но теперь уже, чтобы убить его, ибо по звериному закону: отступившему от равенства и от закона — смерть. В полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги. — Весь день волк лежал в буреломе, и был солнечный день. На каряги навалилась сгнившая листва, пошел уже мох. Волк долго лежал, положив голову на лапы и сумрачно глядя перед собой тусклыми своими глазами, лежал неподвижно, в усталости, тосковании и сумраке. А день был солнечный. Волк иногда скулил, и был тогда беспомощен, никак не свирепым, и, точно щенок, махал хвостом, ссыпая с елки снег. — В пустых полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги, — и волк воет громко, свирепо ощетинясь, садится на лапы, визжит, катается в снегу. — В ту ночь

долго и много крупной побежкой стлал волк, мечась и воя, по полям и суходолам, — с тем, чтобы умереть на утро.

— Даже если б мы умерли!

— Что такое сегодня в лесу? — они уснули сегодня. Разве не эти взметали пыль у своих корней и бросали свои ветви на землю, и не они ли исступленно рыдали и пели, кидая вершинами победные вести? — сухие листья запутались в можжевельнике, и он равнодушно и мертво, и лениво обвис, задумчивый, зеленый. Березки скромно распустили коротенькие платьица. Длинные сквозные полосы длиннее тянутся вдоль утихших елей. Крохотные сосенки высовывают колючие головки. Мирно тянутся заячьи дорожки, хлопотливо проложенные по белым пригоркам и в непроходимом ельнике. Вверху едва слышен замирающий гомон — где-то вверху освещенных солнцем вершин; неподвижны кусты внизу, спокойны солнечные блики. Белка прыгает с сосны и бежит к другой сосне, оставляя на белом пушистом снегу узенькие изящные следы. Мои шаги звучат так резко и странно. Никто ни о чем не знает здесь и ничего не помнит. Это — я, я.

Ночь. Шипят сосны. На суходоле, в зале лает собака. По проселку к усадьбе идет женщина: на поляне у опушки дом, как гроб, смотрит в ночь тремя освещенными окнами. Женщина долго стоит у окна. — «Мне не надо в Дарищи.»

Женщина идет дальше — к Дарищам. Женщина не заметила, как мимо нее, около проселка про-

крался волк и побежал вперед, но когда она подходила к селу, на дороге она увидела волка. Волк сидел посреди проселка, на задних лапах и гнусными своими, слезящимися глазами, горящими зеленым огоньком, вглядывался в человека. Женщина свистнула и замахнулась рукой, — на момент померкли и вновь вспыхнули глаза волка. Женщина зажгла спички и сделала несколько шагов вперед. Волк не двинулся. Тогда женщина остановилась и внимательно осмотрелась кругом. Женщина сжала ком снега, и бросила его — заискивающе — в волка, — волк лязгнул челюстями и тоскливо провыл, в позевоте. Женщина постояла неподвижно, потом повернула обратно. Сначала она шла медленно, потом начала бежать — и все быстрее и быстрее. В мертвых полях, под мертвой луной вдруг закричал, завыл, завизжал бессмысленно и дико — человек. Человек бежал невероятно быстро, шапка его упала, рассыпались волосы, отбрасываемые ветром назад. И тогда на него — на нее — на женщину — налетел сзади волк и ударил, очень коротко, по шее.

И теперь воет — одиноко и свирепо — волк. Ночь. Шипят сосны. Но, отступившим от волчьего правила, по волчьему закону — смерть. Волк жил, чтобы есть и родить, у волка умерла самка. Там, где собираются стаи, тесным кольцом с ощетининной шерстью и с ощеренными зубами на снегу сидят волки и воют, воют, воют, лязгая зубами, призывая вожака, который семь лет тому назад убил прежнего вожака, чтобы стать на его место, — воют, воют, воют, вытягивая нерв за нервом, чтоб призвать вожака и убить его, семь лет тому

назад отступившему от равенства. Ночь идет медленно, на западе очень красная и большая садится луна, снега — сини, зелено сини. И на стаю понуро стелет волк. Это — смерть.

И еще. — Молодой вожак, убивший старика, у которого ничего не оставалось, — декабрьскими волчьими свадьбами, — повел свою самку — в бурелом, где было логово старого вожака.

КОНЕЦ.

Вот еще что.

Не сказано мною, не подчеркнуто, — но по всей этой повести ползают поезда,

— паршивые, вшивые, бессонные, в мешках матершины, в под'емах, уклонах,

— чтобы не заметить пути в десятки тысяч дней —

— до Памира.

И это — Россия, поэзия дней как Ариша, как тридцать два процента всех русских Иванов из поэмы Иван-да-Марья. Моря и плоскогория переместились. Ибо в России прекрасные муки рождения. Ибо Россия — азонируется, ибо в России — жизнь. Ибо половодьями — мутна вода — от наземов. Это — я знаю. Но они видят — вши в матершине.

И еще один поезд сполз к городу. В толкучке мешков и шинелей, — куда прешь сучий нос?.. И на перрон степенно ступил господин с чемоданчиком, в шляпе, в крылатке на вате, и, под кры-

латкой, в сюртуке и в клетчатом жилете, — букинист Кузьма Егорович. Ямщику он сказал:

— В имение писателя Дмитрия Гавриловича Тропарова. Верный был сочинитель! — и сел не торгуясь.

А к вечеру Кузьма Егорович сидел уже не в санках, а с Иваном Альфонсовичем Моржом, пили коньяк, толковали о девочках, обсуждали Аришу Рыкову и вопросы о ящиках, о шпагате, о том, как дать взятку начальнику станции, — чтобы вывезти книги и рукописи — писателя — верного сочинителя — Тропарова, Дм.

Ночью же:

— ночью же:

— Черною ночью, в черном углу своей каморы, на кровати с черным мешком соломенного матраса, рабочий шахтер спал с тремя ребятишками, из которых старший — заборник, и с своей женой, которая казалась подлинно славянкой рядом с негром интернациональной тяжелой индустрии, — спал так, как в этой же избе (много худшей, чем баня на куриных ножках), в других каморах спали такие же рабочие шахтеры. И черным воем в черной ночи завыл гудок. Тогда рабочий встал и над помойником без мыла водой плескался, — жена дала ему картошки, соли, хлеба, — он ел. Тогда жена ему свернула в узелок из тряпки картошки, соли, хлеба, — и он ушел в черный предрассвет. Мог бы он про-

лезть сквозь щель в заборе, но, по привычке, шел две версты кругом, в ворота, глатящие людей узчайшими сходнями с архангелом и бляхами. У бадьи, у жерла шахты, в очереди он стоял и ждал, надев шелом из кожи. В бадью ступая, он перекрестился трижды, по привычке, и вздохнул (ибо по статистике на тысячу шахтеров в год — через каждые три дня увечье и смерть), и, в голос всем рабочим молвил: — «С Богом», — чтоб кинутым бадьею быть на триста сажен вниз и там, в извечном мраке и в дожде извечном, с светильником у шеи: бурить бурки, вбуряясь в смерть. — А жена рабочего шахтера у себя в каморе, подлинно славянка и ведьма, в лохмотьях и лохматая, подвязав отекший живот веревкой, варила в общей печке (в предрассвете) картошку и караулила, чтоб не украсть соседям ее картошки и брахмот — и чтоб украсть при случае брахмоты у соседей.

Так пошел день.

Этой главы название:

КОНЕЦ.

И повести название:

ИВАН — ДА — МАРЬЯ.

Россия, Коломна, Никола-на-Посадьях.
Февраль-март 1921 г.

PG
3476
V6I8

Vogau, Boris Andreevich
Ivan da Mar'ia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY